

ВАДИМ МЕСЯЦ

ЦЫГАНСКИЙ ХЛЕБ

СТИХИ

Издательство «Водолей»
Москва — 2009

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
М53

Фото на обложке – А.А. Ярмолвич (MagiciaN)

*Памяти моих
любимых друзей,
ушедших из жизни
и опередивших меня
на пути познания*

ISBN 978-5-9796-0129-8

© В. Месяц, 2009
© Маргарита, оформление, 2009

ОТ АВТОРА

Здесь собрано всё, относящееся к светской лирике, – когда-то именно она казалась мне единственно возможным для современной поэзии жанром. Стихи написаны в разных стилях, и, в принципе, любой из них можно было взять за основной, но это уменьшило бы возможность маневра. Авторский голос может оставаться узнаваемым и при наличии нескольких интонаций, тем более что я варьировал ими вполне сознательно. Говорить от себя напрямую я, по мере возможности, избегал: это связано, скорее, со свойствами характера, чем какими-то установками. Появлению доктрины несуществующего человека (лирического героя вне традиции), если она таки проступает за многообразием текстов, я обязан сравнительно прилежному чтению Льва Шестова, Жоржа Батая и других философов-экзистенциалистов, ведущих меня по жизни долгое время вне зависимости от страны проживания. Эта книга не столько отчет, сколько прощание с продолжительным этапом моей литературной жизни, позволяющим жить и существовать «без царя в голове», более того, определяя этот способ творческого существования как самый честный по отношению к себе и другим. Сейчас я бы определил общий настрой этой книги как «поэтику 90-х», несмотря на то, что некоторые стихи написаны совсем недавно. За последние годы я счастливо увлекся несколько иной литературой, – любопытно, что это совпало с наступлением нового тысячелетия. Для нового времени – новые книги, хотя есть шанс, что и эти стихи под новой обложкой будут восприняты по-другому.

Ч А С П Р И З Е М Л Е Н И Я П Т И Ц



ЛАСТОЧКЕ

До рассвета ласточке влюблённой
выдан отпуск в дождике метаться,
сквозь косой туман воздушных просек
вылетать морянкой да ищейкой.
Знаешь, если думать без истерик,
то покой берётся ниоткуда,
я всего лишь ветреный матросик,
так же невпопад одушевлённый...
Лёгкий, будто сшитый белошвейкой,
в первый раз сходя на новый берег,
не смогу ни встретить, ни расстаться,
скользкие деньки свои забуду,
раз уж мне вернуть не довелось их.

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Взяв дугу горизонта наперевес,
солнце врезáлось в столетний лес,
и я самый грешный из наших дней
отсекал до корней.

Вдоль по склонам проскакивали бугры,
словно голые ржавые топоры.
И, обернувшись, каждый куст
рассыпался в хруст.

Я ехал, я так любил тебя,
чтобы в сердце билось два воробья,
чтобы мой позавчерашний храп
убегал, как от хозяина раб.

По протокам проскакивали угри,
точили низ ледяной горы,
а потом кукушкино яйцо
бросали под колесо.

Рассвет стоял в ветровом стекле,
он был единственным на земле,
он выползал, он тщедушил бровь.
У него была кровь.

И я не дышал, как на море штить,
завернув тебя в небольшой наряд,
я вез твою матку за тысячу миль.
Много дней подряд.

Она там плыла как лицо в серьгах,
в фотографических мозгах,
как царевна в серебряном гамаке.
Раскачиваясь в глубоке.
Из морей выпрыгивали киты,
и глубины на миг становились пусты.
И цветастые клёвера вороха
вплетались в коровьи потроха.

ГРОЗА (РОМАНТИЧЕСКАЯ)

Окинув безумные взоры кровавым белком,
гроза заливала полнеба парным молоком.
И брошенный наискось ливнем соломенный крик
в глухой немоте проходил переплетами книг.

В прыжке оттолкнувшись ногою с живой тетивы,
по каменным стенам металась прозрачные львы.
И свет, на мгновенье скользнув по высоким углам,
стремился шальным полотером по голым полам.

Но полночь была неподвижна отвесом храмйн,
вставая в душе серединою всех средин,
подобная тихой улыбке на слове «сейчас»
и миру всему, в полукруг обступившему нас.

Я что-то рассказывал, будто предчувствуя труд
брожения, перерождения новых минут,
сгорающих, как города, чтобы каждый твой жест
стал равен простору испуганной жизни окрест:

Размытым дорогам, лепечущим в ливне лесам,
поваленным наземь деревьям, усталым глазам,
свечам, черным книгам, раскрытым на главном стихе,
и всем, кто сегодняшней ночью проснулся в грехе.

И гром рассыпался над нами как сказочный ком,
бескрайнею снежной лавиной, горячим песком.
И хищный затвор фотовспышки внутри темноты
работал, и метил отточием наши черты.

И ты поднималась, смиряя тускнеющий блеск,
и шла, превращая шелка в электрический треск,
и, словно от давней тщеты отряхая ладонь,
спокойно бросала лягушечью кожу в огонь.

ЛИСТ (ТЕМПО)

лист догорающий лист догоняющий лист
наскоро выдранный ветром заигранный в вист
зрячему под ноги или незрячим в лицо
в беличьем всполохе брызгами на колесо
по ниспадающей бающий тяжкую сеть
городом кладбищем на неразменную медь
лист вызывающий жизнь выбирающий лист
бликом пожарища в тоненькой шелке кулис
смутую путанный битый моченым кнутом
шуганный пуганный насмерть покрашенным ртом
спящим пропавшим тем слаще залегшим на дне
что ну прощайте куда еще в этой стране
лист исчезающий эта слеза не в счет лист
лист собирающий мне отражение лиц
сброшенным скошенным выброшенным из тем
гостем непрошеным как и положено всем
не на мощеную черную улицу вскользь
лист полоснувший мне душу по самую кость
не червоточиной в этом проточном шинке
детской пощечиной на отсырелой щеке

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА

for photographs by J. Sturges & V. Gandelsman

Ничто не кончается, даже случайно начавшись.
Моря растворяются, как самолеты, промчавшись.
Подростки глядят друг на друга, неловко обнявшись.

Погода тем летом всегда остается хорошей.
Она еще где-то найдется, проступит под кожей.
Плетеные кресла не скрипнут под легкою ношей.

Ничто не кончается, будем же терпеливы.
Трехлетний рыбак с неоструганной веткою ивы
Двуного выходит под черного неба разрывы.

Гусиная кожа. Гусиные длинные крики.
По городу носят корзину сырой земляники.
Мы все одинаково смертны. Мы равновелики.

Мы детские люди. Мы облики тонкого мела.
Вода размывает частицы безгрешного тела.
Лето прошло. Пространство совсем обмелело.

Лишь йодистый запах промокших в дожде полотенец.
Закладки на мокрых страницах Беглянок и Пленниц.
Мы вышли к огромной воде. Мы молча разделись.

* * *

Сказочный шепот и вкрадчивый шорох
в тыкву садились на птичьих рессорах:
шепот во сне города городил,
шорох коленками влажно водил.

Вот они сели в ночь карусели,
лампы и мыши на ветках висели.
Шепот сказал – никогда не скажу.
Шорох ответил – зверушку рожу.

Шепот сказал – никогда умереть
значит уснуть и в соломе сгореть.
Едем на танцы, вслед за молвой,
мазать им губы сладкой халвой.

Шорох ресницами вспыхнул, как порох.
Он завернулся в свадебный ворох.
Стукнул по лестнице звон каблучка,
будто с мизинца поймали сверчка.

Сказочный шепот и вкрадчивый шорох
бросили тыкву на голых просторах.
Для них кувыркался голый матрос
в мелькании черных и белых полос.

* * *

Нет солёнее ветра, чем суховей.
У океана лишь два лица.
Одно – в дуге молодых бровей,
другое – в оспине мертвеца.
На земле есть россыпь цветных церквей,
все похожие на отца,
словно женщины, судьбой своей,
выходят из-под резца.
Земля черепиц, черепах, червей,
копошащаяся пыльца,
перед которой сколько ты ни трезвей,
все равно упадешь с крыльца.
Неизвестно, каких голубых кровей
в лесах – нету им конца,
надрывается треями соловей,
он не вылупился из яйца.

* * *

Сентябрь наступит через две недели.
Садитесь на пол, правды нет в ногах.
Заметили, как мы осиротели,
как ливень проливается сквозь щели,
как лето оставляет в дураках
влюбленных, наблюдающих окно,
двустворчатое шорохом постели,
распахнутой другими впопыхах.
Вода смягчает речь и птичьи треи.
И гномы сыплют из мешка пшено
на шахматы... И все предрешено.

SHELL BEACH

Ире, моей жене

Лес бы совсем одурел, собрав междометья
наших бесед. И я вспоминать не стану.
Проглоти мое сердце. И я не замечу.
Только выведи меня к океану.
Разбери бурелом, взломай телесные клетки,
доведи до последнего часа в этом столетье.

Они падали накрест, они проспали столетья.
Их стволы тянули слезу в трухлявые трубы.
Сколько буду идти, столько буду стареть я.
Иди рядом со мной. Подожди свои губы.
И, сорвав с паутин очертания птицы и крысы,
мы прошли сквозь кулисы.

Мы разгладили травы. Легли животами в скалах.
Стало ясно, что чему соприродней.
Океан ворочал глазищами в мутных обвалах,
он поднимал горбы в битых кристаллах.
И только далекий огонь корчмы новогодней
выделял место души во всей преисподней.

Он расширял свой объем в неизмеренной лени,
купаясь в корыте слепым большеногим младенцем.
Безгрешные раздвигались его колени,
ломаю пастушьи миры с соловьиным коленцем.
И четыре зрачка, опустившие взоры с карниза,
ждали очередного его каприза.

Он сушил свои крылья на безымянных утесах,
пятерней на них выцарапывал свое имя.
Истоптанный виноград на крестьянских лозах
топорщился, изливаясь сквозь черное вымя.
И, навеки смыкаясь с таким же рыбачьим небом,
он делал луну просоленным хлебом.

У него были плоские лбы, наподобье налима,
он вытягивал к берегу илистые ладони,
его тело было настолько необозримо,
словно солнце, рассыпавшееся на троне.
Он купал на волнах одного за другим великана,
он был океан, где другого нет океана.

И две головы свешивались с вершины,
в ужасе кипящей под ними первопричины.

С Новым годом. Теперь совсем с Новым годом.
Мне было не страшно лежать на самой кромке.
Мы становились с тобою другим народом,
звезды глядели в затылок нам, как потомки.
Двенадцать пробило, вниз сорвались перила.
И наши глотки стали остры, как вилы.

Ты захотела смерти. Я помню кожу,
влажную, земноводную. Помню отвагу,
сжимающего ту, что всех дороже,
со злостью комкающего эту бумагу,
пытающегося вернуть безмерности твердь размера.
Потом стала светлей земли атмосфера.

Мы забыли, как мы царапались, извивались,
перевалив через рубеж бесконечно малых.
Мы отряхали с себя песок, мы извинялись
перед солнцем, встающим на пьедесталах.
Но наши глаза еще были полны прохлады.
Пробуждение – всегда чувство утраты.

У нас под ногами раскидывалась долина,
в ней чувствовались превосходство или лукавство.
Лоза копила в корнях золотые вина,
нам пчелы несли в желтых ложках свое лекарство.
И была темнота, как разверстая грубая рана.
И океан, где другого нет океана.

Так что с праздником тебя, с Новым годом.
Мы учились становиться совсем ничьими.
Я в саранче кромешной, перед исходом,
успел еще один раз повторить твое имя.
Я вернулся, я возвратил тебя с вечного фронта,
я сумел различить над водой черту горизонта.

ДОЖДЬ НАД ЛЕЙК-МЁРРЕЙ

Когда рушатся шумные стены дневных шалашей
раскаленного воздуха,

и над землей плещут руки
укрывающих голову маленьких бледных часовен
с удивленьем подростков, внезапно очнувшихся

в цирке –

И живые валы хлороформа смыкают и вновь
размыкают сеть тонких дорог к приозерным причалам,
словно мутные карты еще не изученных дельт,
через миг утонувшие в шорохах нескольких ливней –

И когда, разлетаясь кочевьем измятых бумаг,
злые мускулы птиц отпускают пернатые тени
в скоростные туннели крутящихся в вихре

частиц,

уходящих обратно на волю в небесные хляби,
в высоту шелестящих ознобом

озоновых дыр –

И свистит разбеганье трапеций от дальних холмов,
отражаясь косыми углами растерянных вётел
посреди установленных сфер

старика Птолемея,

где когда-то хватало спокойствия круглых миров –

Начинается медленный дождь, фокусируя мир
дачной местности с озером и невеликим поселком,
со спиралью крутящейся стружки сосновых распилов,
с нарастающим запахом счастья и мокрых грибов.
Зависание душ происходит на уровне плеч.
Потому что иного пока не дано и не будет.
Куст горящий, под корень проглоченный смерчем,
зарождение молнии на могильном штыре...

Остается лишь озеро, как сердцевина дождя,
потому что, кто прячется,

должен остаться на суше,

в древесине сырых деревень, в нависном капюшоне
удивленных любовников из черно-белых кино.

Начинается ливень, калечащий души до дыр,
где спокоен лишь только утопленник

в яме налима

и ребенок, ложащийся маленьким телом под лошадь,
получив разрешение проехать по лугу верхом.

И вода приближается к стеклам и смотрит в лицо,
искаженное сложной игрой водяных преломлений
потерявшей какой-либо смысл чистоты горизонта
и понятия твердой земли на другом берегу.

– Побывай в сотый раз у какой-нибудь тетки в гостях,
покайся с ней вместе на маленькой

весельной лодке, –

вы когда-то ловили сетями веселую рыбку,
но она не запуталась в ваших хороших сетях.
Мы стояли с тобою на общем большом берегу,
потому что вся суша есть остров

в сравненье с дождем над Лейк-Мёррей,

внешний остров, живая провинция духа,
если строить пространство в лучах

превращений воды.

Спрячься в кожаном ранце охотника или вора,
ляг под дикие копны травы, под гранитные плиты,
лишь бы только не видеть дождя над простором
Лейк-Мёррей.

Если где зарождается жизнь, то, наверное, здесь.

Мутный ход водорода ведет к воскрешенью

частиц углерода,

из которых я и состою. Из которых создалась природа.
Скорость света должна быть сравнима

со скоростью взгляда,

если видишь уже не детали, а только лицо.

Одинокие лики воды, уходящие в воду,
безмянные яхты соседей с распахнутой мачтой,
пара дней до торнадо, смесившего в кашу
дорогие машины с хибарками горожан.

Наступление августа и моего дня рожденья,
удивленного чувством покорности и превосходства,
что движенье звезды Рождества, искривляющей космос,
совершают не внешние силы, а наши глаза.

СЕРДЦЕ-ПАСТЫРЬ (новый Брегам Янг)

Около дома когда-нибудь встанут горы.
И за ними бескрайние лягут степи.
Словно строфы Завета в сцепленьях Торы,
из расщелин небес загрохочут цепи.

И устами пророка и конвоира
сердце скажет паломникам прежних судеб:
«Я вело вас сюда, в середину мира,
оставайтесь, никто вас здесь не осудит.

Здесь еще не родился огонь сомненья,
как младенец, спеленутый горьким стоном.
И любое Господне мое веленье
станет вечным для вас законом.

Я не дам вам ни пороха, ни коровы.
Пейте воду, пеките хлеба́ из пыли.
Не ищите для крови другой основы –
оставайтесь такими, какими были.

Вы ушли и плутаете в сновиденьях,
но теперь я для вас выбираю место
среди заснеженных скал и холмов осенних,
вместо стран и планет; океана вместо.

А потом я уйду – куда вы не в силах,
стиснув зубы, идти по пятам за мною,
оставляя одежды домов постылых,
наедине со своей виною.

И, тревожно качая путей помосты,
я забуду вас, будто детей пустыни.
И увижу, что в небе сгорели звезды
и пылает костер на чужой вершине».

* * *

В вое шакала гуляют опавшие листья.
Красная сырость песчаника скрыта туманом.
Вспыхнув вдоль края дороги, знакомые лица
тут же сливаются с мертвым ночным океаном.
Время сквозит ощущеньем пустынного дома.
Все заколочено, брошено под снегопады.
Лес, как покинутый город, стоит незнакомо.
Вслед за бродяжьим обозом уходят дриады.
Только от страха, должно быть, не ведаешь страха,
в спешке навесив замки на любимые двери.
Жизнь – это лишь отряхание старого праха
и превращенье следов в дорогие потери.
Все покидают на зиму бескрайние горы.
Нас тоже выводит декабрь из-под каменных сводов,
не зная, куда тяжело устремляются взоры
птиц, полусонных зверей и усталых народов.
Если твой пристальный взгляд на скалистые стога,
сколько б ты ни был в пути, ни мечтал о ночлеге,
однажды уткнется в такие же теплые окна,
где души столпились как пленники в утлом ковчеге.

* * *

Ветер шуршит по аллее листком сухим.
В холоде стелется блеклый осенний дым.

Взгляды, как стрелки часов, расщепляет гарь.
И золою развеян по ветру последний царь.

Восходящая к облаку зыбкая карусель,
словно флот, уползающий клином куда-то в щель

между прошлым и будущим, с плавностью колеса
размешала, как мельница, все наши адреса.

Подожди, и однажды твой город прихватит лед
жуткой брагой, разлившейся на вековой оплот,

словно первый озноб от скользнувшего в ночь весла,
когда вспоминаешь, в чем мать тебя родила.

И я знаю летящей походки родной испуг,
гусиную кожу в сквозящих пустотах брюк,

отчаянье пьяниц, забредших в пустынный сад,
что водят собачек по листьям вперед-назад.

Прозрачные скверы застыли в твоих глазах.
Октябрь безнадежен, как храм в строевых лесах,

как мерзлых дорог громынувшая кровлей жесь,
будто под ними что-то другое есть.

* * *

Полдень окажется достоверней,
когда, повернувшись на закатный свой бок,
озера ласкают наряд дочерний,
руки прачек свертывая в клубок.
Всё бесстыдней, бессмысленней, суеверней
опускают в стоячую воду венки.
Десятым лесом, седьмой деревней
огонь выростал, но взойти не смог,
он разрывал паутину терний,
мотыльками сыпался на порог.
Я постучался в окно харчевни –
куда я забрел, знает только Бог.
Я хотел разобрать Его тихий слог,
самый озерный, простой, вечерний.
Все тяжелей нависал потолок.
Чем нежнее становишься, тем пещерней.
Ты обронила ресницу. Я потерял сапог.
Незнакомой зарею над нами горел восток.
Когда просыпаешься, жизнь достоверней,
словно на пристани первый звонок.
В пречистом раю или в чадающей скверне
мы бежали, под собою не зная ног.
Потом случилась война. У нас родился сынок.
В самой что ни на есть глухоте губерний.

ДЕЛЬТА

Существует такая бескрайняя местность:
песчаные плесы, речные архипелаги,
большая вода, уходящая на север,
куда-то в безлюдность,
в затерянность,
в неизвестность.

Она забирает попутно несчетный мусор,
замшелые лодки, рыбацкие снасти, флаги,
из губ разомлевших коров обронённый клевер,
предпочитая всему одно – двигаться мимо
тебя ли, меня;

уносить наши взгляды,
как шорохи хищных птиц, горький запах дыма,
ибо взгляд над рекой сам собой означает честность,
а мусор имеет привычку тянуться к влаге.
Пожалуй, я помню об этом – припоминаю,
хотя и смущен отдаленностью той прохлады,
а спроси меня, что есть дом,
я скажу: не знаю,
спроси меня, что есть путь,
я скажу: не знаю,
только имя свое запишу на клочке бумаги.

* * *

В молитве сдвигает ладони метель.
Окно превращается в узкую щель,
вставая один на один во весь дом
с ночной пустотой в проеме дверном.
Часами, не зная предельных границ,
растет напряжение стен, половиц,
пытаясь объять от угла до угла
всему безразличную сущность тепла.
Когда, отмелькав по дневному лицу,
жилище запретно любому жильцу –
душа, выполняя обряд старшинства,
зиме возвращает былые права.

ЗИМНИЙ ДЕНДРАРИЙ

памяти Григория Вайнштейна, эсквайра

Чердаки заполняются птицами как притоны.
Города умещаются в жизнь своего вокзала.
И природа, предчувствуя наши чудные стоны,
с головою уходит в мохнатое одеяло.

Значит, можно опять залечь беспробудным лежнем,
лишь бы только дожить до рождественского подарка.
Если что-то и говорит о совсем нездешнем,
то – названья деревьев из городского парка.

Там, где прячутся на ночь за десятью замками
меловые дорожки, пустые дворцы беседок.
И огонь больших фонарей, разбегаясь кругами,
приглашает кого-нибудь пройтись напоследок.

Пьяный сторож обходит дозором залежи снега,
соблюдая с привычной прилежностью свой сценарий,
охраняя то ль от половца, то ль от печенег
драгоценный, уже истлевший гербарий.

И колючих кустарников ледяные каркасы,
по-монашески сжавшись в шерстяной мешковине,
переводят неизъяснимо простые людские фразы
на язык ботанической, полуземной латыни.

И каждый цветок заколочен в дощатый ящик...
И теперь мертвецы, найдя в себе силы,
променяв свою жалкую роль на труды скорбящих,
должны прийти и оплакать эти могилы.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПРОГУЛКА ПО СВЕРДЛОВСКУ

Здесь бледнеет на морозе злой медведь,
глядя вместе с медвежонком в черный двор,
начиная просветляться и трезветь –
будто грустный человечеству укор.

И по лавкам и вокзалам круглый день,
и на почтах, прокопченных сургучом,
не видение, не сумрачная тень –
земляки пугливо жмутся за плечом.

И по рынку рёбра конские в мешке
громыхают, как Юровского шаги,
что заходится в промерзшем бардаке,
встав во гробе, как всегда, не с той ноги.

И на площади, где зверя след простыл,
в приоткрытую меж временами щель,
не щадя своих последних общих сил,
город тянет в небеса большую ель.

И не вспомнить, где посеял медный грош,
только к ночи воротясь со стороны,
если звезды снова ждут, что упадешь,
лишь бы броситься всей стаей со спины.

* * *

Мороз скрежещет в водопроводных костях,
пробивается сквозь бедро лошади, стоящей у склада.
Набивка подушки усиливает скрип.

Поднимайтесь, «майн фюрер».

«Майн Зигмунд»?

Глубинная пустота любого звука.

Мы пользовались чем-то другим.

Шепелявили?

Очень люблю это утро.

Фиолетовым утром горят повсюду маленькие огни.

Люди превращаются в горящие папиросы,

ходят туда-сюда. Туман, простор.

За рекою есть озеро, много озер.

Я изобрел паровоз.

Мой первый друг (Бобка), он был сшит из тряпок,

он спускается вместе со всеми в освещенный полуподвал.

Старики держат домашних животных,

потому что те живут меньше,

чем мы.

МЕСТЬ

Алене

Вода замыкает свои круги.
Становится выше гора Ульхун.
Я слышал вчера перезвон колес,
как будто прошло уже двести лет.

Как будто, дожившие до зимы,
мы были счастливы только здесь.
Позволь мне еще постоять в дверях,
дай неподышать мне, пока ты спишь.

Тебя не узнает твоя сестра,
годами глядя тебе в лицо.
Зачем собирать камыши со дна,
бежать за золотым клубком?

Твой сон выпадает из лап ежа
на скользкий,
прибитый морозом мох,
где я проходил по тропинке вниз
единственный раз, единственный раз.

И я не знаю, о чем молчал
твой черный от чернослива рот
Я забрал твою молодость словно вздох,
чтоб ты и не вспомнила, был ли гость.

ТАБУ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ

Окно вымыли на ночь.
Оно стало совсем холодным.
Мне нельзя пить чистую воду,
брать руками круглые вещи.

Мне нужно привыкнуть к другому.
К белой щелочи, к черной марле,
к кускам сухого картона.
Вот и довольно свободы.

Неизвестно, что более тщетно –
покой или беспокойство...
Точно так же мечтают кошки
гладить волосы человека.

Я готов промолчать и об этом.
Глухота почти идеальна.
Все равно, о чем ты попросишь.
Все равно нужны только двери.

ДВА В ОДНОМ ГОЛОСЕ:

1. Минута знакомства

Ливень должен обрушиться посередине дня
битым стеклом Гельсингфорса,
маслянистым боком линя,
опрокинутым морем, в котором
лишь море – тебе родня.

Топорщился край пыльной улицы,
превознося эпизод;

глухо звучали ставни
замолкших восковых сот;

из коробки с пломбиром
клубился жидкий азот.

– Сейчас я тебя увижу,
как видел за годом год.

– Сейчас я тебя увижу,
как вижу за годом год.

Минута знакомства трезвее,
чем гроссмейстерский ход.

Растворялись дензнаки на волнах кинолент;
свинцовые государства

поспешно сдавались в рент;
сочной мочалкой в лохани

клокотал заморский акцент.

– Я буду видеть my darling,
что как сплошной восход.

– Я буду видеть mein Madhen,
что как хрустальный грот.

Любовь голодранца надежней,
чем весь императорский флот.

Мы попада́ли с базара в строительные леса,
от жары в мозгу расплывались
туземные чудеса.

Из конца в конец длинной спицы
проскакивала гроза.

– Сейчас я увижу даму, которую так искал.

– Сейчас я увижу красотку, которую так искал.

Прошедший сквозь мимолетный,
кровавый лесоповал,

я путаю лица киноактрис,
с лицами тех, с кем спал.

Есть гво́здики тоньше нерва,
сточившие в дым шелка́,
они входят в формулу медленно
сгорающего песка.

Так пьяница стал бы моложе,
взглянув в стакан молока.

Так под пристальным взглядом льдина
срывается с потолка.

– Сейчас я увижу ливень,
закончивший свой полет.

– Сейчас санитар мне скажет,
что никто не придет.

Жара изменяет лица –
и сколько шнурку ни виться,

в океан упадет синица.

Отъщут лишь через год.

2. Жара

Жара это – свойство кожи
и красных глиняных крыш.

Она исчезает тотчас,
едва зашумит камыш.

Или если, сосредоточась,
скажешь: летучая мышь.

Она – в костяках деревьев,
застывших как пятерня.

В тыквах, в панцирях крабов,
развешанных вдоль плетня.

Сквозь колочую проволоку
надо мной потешалась родня.

Я ехал к своей мамаше
четыре тысячи верст.
Автопробег на карте
сворачивал мой рост.
Словно сеть по пустыням Техаса,
я тащил мой сибирский погост.
Я сказал вам – будьте наивней,
станьте теплой меня.
Жара состоит из ливней,
прочее – болтовня.
Я ходил по земле
большими ногами.
На земле осталась ступня.
Жара – удел Бонапарта
вытягивать тень на асфальт,
В упорстве трудолюбивых
она расплавляет факт.
И только, когда умираешь,
определяешь фальшь.

* * *

Майе Никулиной

Только там, где сможешь ты проснуться,
обманув испуганное время
на секунду жизни льна, крапивы,
на одну куриную минуту,
торопясь куда-то в холод, в запах гари,
в недомолвки, в отзвуки, обрывы,
в безразлично смешанное племя,
чтоб уже не знать,
куда вернуться, –
ты захочешь петь о чем-то новом,
позабудешь вкус надежды, жажды,
повторений ласковую смуту,
будущие праздники, поминки:
там тебе не верилось, что каждый
перед смертью шепчет – благодарен.
Только там, где сможешь ты проснуться,
никогда последнего
однажды,
прислонясь к белесому уюту,
на окне застыв листком кленовым,
сжавшись красным локоном в косынке,
скомканной перчаткой
на гитаре.

В ГОСТЯХ НА РОДИНЕ

Иосифу Бродскому

Разолью чернила, забуду искать бумагу,
потому что время идет только снаружи.
И позвоночник длинного речного архипелага
покрывается инеем в зыбкой рассветной стуже.

И большие костры, постепенно лишаясь цвета,
отражаясь друг в друге, стоят на рыбацком плесе,
меж травы и реки, что сбивается вдруг со следа,
не встречая знакомых огней на крутом откосе,

на котором, скорее всего, никогда не поздно
строить каменный дом или храм в дорогой известке,
чтоб опять задаваться вопросом, вполне серьезно, –
почему в каждом доме скрипят под ногами доски;

почему каждый храм сторонится прямого взгляда
и высокою тенью ложится в пустые воды.
Человек состоит из воды, и одна отрада,
что кому-то достанется пресный глоток свободы;

что кому-то не надо бродить из варягов в греки,
присматриваться то к Западу, то к Востоку.
Ведь ты умер своею смертью, и в этом веке
и, значит, находишься где-то неподалеку.

Вот и хлопают двери в великой моей Сибири.
Все ушли. И скоро уйдут их души.
Думай только о них – чтоб скорей забыли:
Человек состоит из воды. И полоски суши.

* * *

Прийти с невестой в южный городок,
дойти пешком до маленькой кофейни,
где кофий воскуряется трофейный,
вплетаясь в моря тонкий холодок.
Стать незаметней, чем ее наряд:
все эти стёжки, вытачки и строчки,
сводившие с ума поодиночке,
теперь пускай морочат всех подряд.
Здесь рядом звон гитары, скрип шаланд.
Гортань матроса вздулась, как акула.
Вот девочка на пуфике уснула,
с нее забыли снять огромный бант.
Мы в ней находим собственный талант,
мы встали по бокам для караула...
Мы медленно читаем ее сон,
как черно-белый сказочный гербарий.
Постой. Прости. Мы рождены в кошмаре.
Оставьте нас. И все отсюда вон.
Не плачь. Беги. Вчитайся между строк.
Вот крики солдатни, обрывки арий.
Вся философия осталась в будуаре.
Вот тебе – Бог, а вот – порог.
Лишь дурачок картавит на гитаре:
«Прийти с невестой в южный городок».

* * *

Наташе Ефимовой

Как бродяга, волочился за тобою листопад.
Ты загадывала числа и звонила наугад.
И в измученных конторах каждый правильный мужчина
отвечал «совсем не занят, и к тому же очень рад».

Как чумные, тормозили по обочинам такси,
предлагая вместо денег прокатиться за «мерси».
Ты же скромно отвечала то, что царственность походки
демонстрируется лучше без резиновых шасси.

И витрины превращались в перекрестный ряд зеркал.
Манекены виновато прикрывали свой оскал.
И за стойкой в темном баре мимолетный взгляд подружки
плавно рассыпал цыкуну в твой недопитый бокал.

По кирпичным переулкам дул кофейный ветерок.
В каждом городском отеле был похожий потолок.
День тянулся ровно столько, сколько нужно для кокетки
сохранять от посягательств фильдеперсовый чулок.

Я ведь все прекрасно знаю про забавного себя.
Что я мог всем им ответить, старый шарфик теребя,
как бы смог я насмехаться над шикарными жлобами,
если б в этот миг со мною рядом не было тебя?

Если хочешь, подарю тебе ужасный красный бант.
Если хочешь, напророчу, напрягая весь талант,
что тебя, как приживалку, скоро выгонят из дома,
но на счастье подарят бесподобный бриллиант.

У любых людских историй есть родимое пятно.
Мы сегодня уезжаем, и, должно быть, не грешно
поглядеть в окно вагона, как далекие деревья,
словно злые человечки, побегут в немом кино.

* * *

из Набокова

Поезд, качнувшись, входит в сезон дождей.
Мы в чем-то ошиблись, прощаясь на полпути.
Вдоль перрона проходит контурный мир смертей,
раздвигая наше безмолвие впереди.

Окна вагонов прошли, как ряды белья,
лица стали белее твоих простыней.
Разодрав занавески, из них показался я,
ты побежала, ты оказалась ясней,

Сопричастней повальному ливню, на каблуках.
Выдергивая из воды ряды перстней
вместе с пальцами в перламутровых жуках,
от которых, барин, не покрасней.

Потом ты упала. И я пробежал
за вагоном одним, пробежал четвертый вагон.
Ты рыдала, скомкалось платье, и я продержал
свой ужасный поклон.

Я вернулся в купейное, вытащил туз крестей.
Познакомился с девушкой в шерстяных чулках.
Поезд, качаясь, катился в сезон дождей.
И жизнь моя покатила в других берегах.

* * *

родителям

Окруженные грозами и горами,
мы войдем в приусадебный планетарий.
Со страниц разлетится живой гербарий,
смешается с расколотыми мирами.

В кои веки мы вместе. Неотличимы
чужими в молчании голосами.
Так пустой и зовущий огонь лучины
спорит с солнечными часами.

Мне достаточно одного желанья,
через восемь лет на вас обернувшись.
Осторожного оживанья,
в телефонной трубке проснувшись.

Если молнии шаркают, словно спицы,
по кремнистым вершинам далеких горок.
И на луне никому не спится
от скрипящих людских каморок.

Окруженные грозами и горами,
мы уходим к уюту родного дома
черно-белым портретом в семейной раме,
как в глубины прозрачного водоема.

Забывая далеких и объяснимых,
обладая лишь одним талантом –
возвратиться на землю, как фотоснимок,
обронённый рассеянным экскурсантом.

НАРВА-ЙЫЭСУУ

Что на́ море тихо и в памяти нету былого,
беглянка шептала, и город названия Таллинн,
как мальчик на ялике, был старомодно печален,
дразня огоньками излучину мира иного.

И мы проходили большие послушные воды,
навек расставаясь с привычною болью земною,
и где-то под звездами легкие птиц перелеты
мне часто казались затейливой шуткою злою.

Но я был владелец изысканно скрученной розы,
и, словно увидев ребенка дикарского юга,
в животном ее аромате толпились матросы
и, чисто дыша, тяжело согревали друг друга.

А утром мелькали червлёные туфли по сходням,
и медные стрелы горели на выбритых скулах,
и сто фотографий заморских красоток в исподнем
ломались губами в моих крокодильих баулах.

А вы всё шептали и кутались в нежную гриву:
Я знала, что счастье теперь никогда не вернется.
Запомнила только, что музыка – это красиво,
а хлеб из печи на холеных ладонях не жжется.

МОНОЛОГ ДЕВУШКИ

памяти Олега Даля

Мой любимый актер,
офицер из старинного фильма,
я устану прощаться,
но разве за тысячу миль
не легко полюбить
романтической девушки стиль,
если все-таки вспомнить?
А женская память бессильна.

Если все-таки выжить,
хотя бы для добрых гостей,
для какой-нибудь свадьбы,
ветреным духом воспрянув,
возвращаясь домой
мимо тихих в порту великанов,
что сажают на плечи
уснувших под утро детей.

Что еще, кроме старости,
я не узнаю о вас?
То, что ваших мечтаний
случайно хватило на многих?
Что, мерцая дождем
на своих голенищах высоких,
у дверей казино
вы навек растворились из глаз?

Я устану прощаться
уже наравне с тишиной,
только слишком уж долго
идут облака в киноленте...
Как вы были любимы
своею прекрасной страной,

и всё так же несчастны
в торжественный миг после смерти,
мой любимый актер,
мой киношный, мой самый родной...

* * *

Ну а если в Ливадии снова не будет зимы –
Если в синем батисте и легким плащом не укрыты –
Чем еще недоступнее, тем никогда не забыты –
Словно вправду несчастные, тихие около тьмы –

Если прямо с базара, не хлопая настезь дверьми –
В дорогую аптеку, встречая немые гостинцы –
У сухого прилавка со скрученной ниткой мизинцы –
Не сердись, это роза, хотя бы на память возьми –

Говори о минувшем, хоть в памяти нет ни души –
Желторотая шельма свистящей дворовой элиты –
Наши лучшие годы как будто из бочки умыты –
Вспоминай, это чайная роза из царской глуши –

Вспоминай, будто мальчик про черные очи поет –
В тишине, на коленях какой-нибудь жалобной тетки –
Будто катятся в Ялгу тяжелые рыжие лодки –
Только эта, под парусом, раньше других доплывет –

Вот и всё... и быстрее... я тоже хочу навсегда –
Может, нас, ненаглядных, хотя бы бродяга полюбит –
С золотыми перстнями красивую руку отрубит –
И уйдет, и уедет, и горе пройдет без следа –

И уйдет, и уедет, хоть страшные песни пиши –
Ни дороги... ни тьмы... ни пурги... неизвестно откуда –
Словно срок арестанта всегда в ожидании чуда –
Но еще недоступнее, если любить за гроши –

Но еще недоступнее, чем у тебя на груди –
В разноцветных нарядах, чужая, сезонная птица –
О тебе, о тебе, замороченной в вечном пути –
Наша лютая ненависть синему морю приснится –

Подожди, это роза, в Ливадии нету зимы, подожди.

* * *

из Набокова

Сосновый лес вставал по берегам,
отточенным во мгле форпостом мрака.
И на бегу лохматая собака,
играя, прижималась к сапогам.

Откосы в норах смолкнувших стрижей
прохладно гасли, и, закрыв глазницы,
туман легко слоился на зарницы,
напоминая спицы ворожей.

Мы шли вослед течению реки,
поскольку направление побега
несчастных женщин создано от века
согласным мановением руки.

Пытаясь вспомнить, в чем я виноват,
я уходил во тьму первопричины,
но ликование нашей доброй псины
заманчивей притягивало взгляд.

Я знал, что нас согреет и спасет,
хоть на песке ни слез, ни отпечатка.
Пусть жизнь пройдет, но Ирма принесет
в зубах твою крахмальную перчатку.

РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК (1)

Перепорхнув над синими лесами,
цикада заселяет старый флигель.
И на устах злодейки трель да гибель
альпийскими ликует голосами.

И горожане, кутаясь в постели,
уходят в тайны прошлого щекою.
И только нас ее пустые трели
зовут не верить в искренность покоя.

Они торопят ночь, будто цитата.
И в ней никак не вычислить подвоха,
когда во тьме не видно циферблата,
но наступила новая эпоха.

А вот и церкви звонницы качнули,
по городкам летя в иные дали,
как будто мы кого-то обманули,
раз до рассвета очи не смыкали.

И даже не надеясь на беседу,
мечтая в нежный Цюрих возвратиться,
мы принесли цветы на двор поэту –
и Лафатер запомнил наши лица.

И я, простившись с вечностью в долине,
ушел к мельканью ласточек в утесах,
забыл молитвы, грешные отныне,
и отпустил по ветру легкий посох.

РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК (2)

Мимо лестниц, мимо мокрых простыней
длится старый, длится новый коридор.
В лабиринтах жизнь становится длинней,
перед тем, как снова выйдешь на простор.

И на глупую прогулку в сотый раз,
кое-как набравшись храбрости во сне,
ты пускаешься, не поднимая глаз,
чтоб не видеть прорезь неба в вышине.

Ничего тебе, увы, не говорят
эти вывески и стрелки по углам.
Ты не веришь, что воротиться назад,
но идешь как бы по собственным делам.

И расслабленно теряясь в пустоте,
в тупиках уныло путаешь следы...
Все равно вот-вот протиснешься к воде...
Ни одной нет больше лодки у воды.

Лишь касаясь постаментов и витрин,
волны что-то предвещают вразнобой.
То ли гвельфы встанут с шелковых перин,
гибеллины в город ринутся гурьбой.

То ль над ухом жадно щелкнет хищный клюв,
полыхнет вдогонку ветреный пожар,
то ль в огне раскрытой двери стеклодув
твое прошлое вдохнет в прозрачный шар.

Бедный варвар, убежавший от своих,
разоривший Аквилею в пух и прах,
все мечтаешь, как остаться бы в живых
в этих тонущих, бессмертных городах.

МИРСКИЕ СТРОФЫ (1)

Рыбачий воз к деревне подкатил.
И дышит, словно озеро под шубой.
И вдоль до неба улицею грубой
народ калитки новые раскрыл.

А дома греют в печке медный прут,
воруют горы сахара в запасы...
Теленок родился – и все бегут...
Скользят мастикой рыжие террасы.

И девки преют, словно мухомор,
исподтишка заглядывая в двери,
пока у ног плутающие звери,
мурлыча, прошмыгнули в коридор.

– Ужели наша панночка больна? –
Так медленно играла на рояли...
И вот перебирает у окна
своих волос тяжелые спирали.

Ей чудится столица при свечах,
где туфельки блестят в персидском ворсе.
И осторожный взгляд
на бельведерском торсе
сияет в удивительных очах.

МИРСКИЕ СТРОФЫ (2)

В низких печках стало холодно и чисто.
Светит днищами шарга капустных кадок.
И жилище записного анархиста
обретает неестественный порядок.

Отстучав рождественским стаканом
вразнобой с пустой столичной байкой,
завершились шашни с тараканом,
перебранки с доброю хозяйкой.

В целом мире кончились чернила –
даже царь указа не подпишет...
Ну и пусть... И даже очень мило,
что теперь всех нас никто не слышит.

Снег растет, любуясь сам собою,
будто спорит с давним снегопадом.
Вот и стало правильной судьбою
все, что оказалось где-то рядом.

Не скрипят ночами мерзлые пороги.
Не раскатан путь пролетным санкам.
И с постели встать легко, будто в дороге,
подъезжая к незнакомым полустанкам.

И любовь, решив быть соразмерней
с предвечной медленной дружбой,
вдруг прошла в глуши твоих губерний
воровской заутренней службой.

КУЗБАССКИЙ ПОСЕЛОК

отцу

На белом свете, в дальнем далеке,
на празднике цветов в шахтерском городке,
где птицы с горьким щавелем дружили,
где плачет мастерица в туесок
и пестрая лошадка греет бок...
А нас поцеловали и забыли.

И мы гуляем с куклой на полу,
и так тепло – и скоро быть теплу,
неслышному, как матушкины слезы.
На станции гармоника дурит,
и возле костыля сапог блестит,
черно и жадно дышат паровозы.

Все так давно, и будто не про нас.
Мой милый, добрый день – веселый час,
нам снова ждать то счастья, то парома.
И плачется и верится едва,
и нет ни простоты, ни воровства.
Была война. А мы остались дома.

* * *

Василию Лупачеву

Ты однажды приедешь в пустынный дом,
что, как сказочный лес, стал тебе дремуч,
но в густой паутине над косяком,
как и прежде, лежит серебристый ключ.

Где-то здесь, отвязав на дворе коней,
ты был должен остаться и вечно жить.
Ты войдешь в шаткий мир нежилых теней,
для того, чтоб хотя бы цветы полить.

Вряд ли что-то теперь вызывает страх,
что случайно найдешь непростой ответ.
Все осталось стоять на своих местах,
потому что ты не включаешь свет.

И не нужно таиться нечистых сил,
услышав сладкий запах ее духов,
все равно ты не любишь, и не любил,
заглянул на минуту – и был таков.

Иль отыщешь перчатку, трухой шурша,
в сундуках, где немислим заветный клад,
будто в ней и хранилась твоя душа,
что оставил лет десять тому назад.

* * *

Как по городу под шорохи метлы
похожденья старой штопальной иглы,
так и катится по жизни прежний страх,
все пытаюсь что-то вспомнить впопыхах.
То закатится в засохший водосток,
на подошве проскрипит будто песок,
то, сверкнув железной дужкой за углом,
прикорнет у глупой птицы под крылом.
То ли просто ночью с неба упадет,
наугад к знакомой улице прильнет –
к стертым камушкам и лестницам пустым,
рассыпаясь прежним звоном золотым.
Тихой шуткою, что вечно на слуху,
давней славой, изваявшейся в пуху, –
все мы что-то обещали, да ушли,
потерявшись где-то в уличной пыли.

МЕМЕНТО НА ДАЧНУЮ ТЕМУ

Ежик, ежик, мы умрем?
Мне сказали, что я добрый.
Из земли уходит лето.
Остывают пятаки.

Нас отпустят по воде.
Я лицом на скатерть лягу.
Ты свернись в цыганской кепке.
Поплывем и поплывем.

Осень, бедная вдова,
разбросай свою солому
всем охотникам под ноги,
дождевых червей укрой.
Мне сказали, что я злой.

Мне, наверно, повезло.

Я уехал, не простившись,
не поверил, не признался.
Я случайно соль рассыпал
в вашей даче на столе.

Я не помню, что когда-то
говорил с печальным зверем.
Черно-белый фильм вертели,
длинный черно-белый фильм.

ИМЕНИННИК

С пьянки-гулянки – в ночь по черному ходу,
разбредаясь по лестницам, как на длинной дороге,
аукаясь между собой, прислоняясь к стенкам,
слушая разных друзей разговоры-звуки,

склоняясь на миг над какой-нибудь жуткой бездной,
жалеть, что не время исполнить арий заморского гостя,
брэнча стеклопосудю по коленкам,
влачиться ко дну под тяжестью сумок-сеток,

глядеть чересчур напряженно себе под ноги,
различить, что на них до сих пор домашние тапки,
но в конце концов ты выбрался на природу,
на дворик детских площадок, спортивных клеток,

что давно уже кружишь по-над смешною поляной,
не ищешь скамейки бросить усталые кости,
не сгребашь кусты акаций себе в охапки,
на пути к качелям во тьму выпрямляя руки,

что движешься по песочку, чудной до боли,
переступая холодные тени огромных веток,
что вспомнил много зряшного, а в итоге
отозвался на голос: на птичий, на бесполезный,

и теперь стоишь под какой-то звездой, без шапки,
разминувшись со всеми, один на великой воле,
подойдя к столбу-стояку, решив – деревянный,
едва не плача, почуяв, что тот – железный.

МАМА В АВГУСТЕ

Бродит август по Даниловскому рынку,
залезает глазом в глиняную крынку,
отражаясь в молоке, что подороже,
вдруг на миг становится моложе.

Закатившись тихо в заросли укропа,
все лежит, почти что до озноба
вспоминая о траве нездешних улиц,
о цветных камнях в желудках куриц.

Впрочем, мы с тобою тоже бродим,
на лотках что-то знакомое находим.
Будто это все когда-то было...
Только мамка ко столу купить забыла.

У тебя сегодня снова день рожденья.
Георгины, эти страшные растения,
я внесу и в главной комнате поставлю,
с ними вместе на всю ночь тебя оставлю.

Чтоб ты понял, горько плача под сурдинку:
твое сердце, даже сердца половинку
с той поры, как в первый раз его разбудят,
охранять потом никто не будет.

УДИВЛИВЕНЬ
(пьяница и дождик)

1.

Старик вбегает в стаи голубей,
порхая синей майкой вроде крыльев.
Вдруг на асфальт садится, обессилив,
становится загадочно глупей.
Швыряет деньги, собирает их.
Потом почистит туфельку у дамы.
Перечисляет солнечные граммы
осенних подметенных мостовых.
«Развитие, – смеясь, глаголет он, –
становится пособием познания».
Потом молчит. В нем что-то обезьянье.
И в бороде его гуляет слон.
И рядом башня. И напротив храм.
И в храме бьется колокол гудящий,
он деду слышен душу леденящей
прелюдией небесных мелодрам.
Гроза все ближе, все темней, вот-вот,
над городом скопившись, облаками
тряхнет над всеми нами, дураками,
и спичкой деревянную сверкнет.
И небом наполняется живот.
И каждый захотел обратно к маме.
И дед все ждет с поднятыми патлами,
как дирижера молния убьет.

2.

Мы с ним лежали с видом на вокзал,
на Павелецкий. Тот пейзаж наивен.
Старик сказал: все это «удивливень»,
а впрочем, «удивлевень», – он сказал.

РОБИН КРУЗО, ДЕДУШКА

Робин Крузо, мой бедненький Робин Крузо,
в инвалидной коляске, скрипящей от тяжелого груза,
ты катался по кругу, укрытый коричневым пледом.
Жарким летом, тем жарким беспмятным летом.

Починяльщик будильников, печатных, швейных машинок.
Слушатель самых модных пластинок.
В мире, где все держалось царями, волхвами, смердью.
Перед тобой, путешественник, смертью.

Ты подъезжал к окну и глядел, словно мальчик,
как студенты щипали студенток, играя в мячик.
Ты уже не умел говорить ни единого слова,
но мычал – продолжение жизни уже готово.

Контрабандист, ты легко засыпал на мшине,
как подобает вдумчивому мужчине,
пока через тебя не перепрыгнет заяц
или не перешагнет с кремнёвым ружьем китаец.

Я выучил русскую азбуку вместе с тобою.
После этой науки я мог бы прожить с любовью.
Моя жизнь, к сожалению, стала тебе ответом, –
жарким летом, совсем беспмятным летом.

Глаза твои были темные, цыганские были.
Никто не вспомнил тебя, чтоб потом не забыли.
Робин Крузо, мой родненький Робин Крузо.
Главный герой Советского Союза.

1991-Й

Тоскливей, чем пыльный аквариум в детской тюрьме...
Нелепее книжной закладки на первой странице...
Загадочней старого глобуса, что в полутьме
привычно мерцает единственной в мире Столицей...

Пронзительней крика речных недостреленных птиц,
взметнувшихся дикой гурьбой над прогулочным судном,
несущим по черной реке сотни жалобных лиц,
у круглых окошек забывшихся сном беспробудным...

Цветастее стирки горы кружевного белья,
по мыльной воде дорогие «недельки» листая,
конфузясь смешному намеку на общность жилья
с послушными девами всех территорий Китая...

Роскошней тирады, что нужно сказать напрямик,
хотя бы она и была – и пустой и порожней,
но только б добралась на дальний, чужой материк,
скользя по стальным турникетам советской таможни...

Спокойнее смятой перчатки, упавшей из рук
в надежде найти для себя безопасное место,
скатившись куда-то под лавку за стертый каблук,
уже не являясь ничьим продолжением жеста...

Страшнее, чем в ржавом замке повернувшийся ключ,
как будто возможен какой-то хозяин снаружи...
Досаднее окрика друга «давай, не канючь»,
хотя это больше подходит к нему самому же...

Весь год, как отчаянный спор с Человеком дождя,
которого то проклинаешь, то снова голубишь...
Он вряд ли оглянется, сгорбленно вдаль уходя.
Пока не расстанешься, то ни за что не полюбишь...

И это, пожалуй, вернее народной мечты,
что вечно теряется в странных, глухих многоточьях,
когда, оставаясь один посреди пустоты,
он сходит на нет. И уже не отличен от прочих.

ДУШ ЗИМОЮ

Когда ты уехала, стало намного хуже.
Наступила зима с колокольным звоном.
Я часами стоял в бестолковом парящем душе,
ощущая себя частью воды, эмбрионом.

Я оставил снаружи все голоса эфира,
звуки жилья, створенных улиц.
Мы легко забываем загадочность мира,
если вышли к стене и уже разулись.

Я стоял, закрывая глаза, я уверовал в вечность
бытия, заключенного в кокон живого пара,
будто сравнивал хлористую сердечность
с глубиной промерзлой земли, тротуара.

Это было заменой любой человеческой грусти,
теплотою любви в ожиданье ареста,
фонарем на задворках вселенной, в захолустье,
под которым стоишь, и не двинешься с места.

Это было геройством очнувшегося бродяги –
улыбнуться и посмотреть себе в ноги.
И мечта о зловещем и беспримерном шаге
становилась ничем в этом хлопающем итоге.

Это было свойством зимы поскорее согреться.
Но тебя уже не было, как и всего остального.
Если что-то порою стучало в сердце,
то только излишек выпитого спиртного.

И я пробирался из ванной в пути к стакану,
будто лунатик, спешащий в иные дали.
Дома шла жизнь по другому плану,
и меня, может быть, в отместку не замечали.

И я пугался, случайно увидев родные лица.
И глядел, едва различая сквозь пелену,
как по серому небу спокойно летели птицы.
На соседнюю улицу, а не в другую страну.

ОЖИДАНИЕ

Тане Бейлиной

Я привез сюда твои лучшие платья
и теперь натыкаюсь на них, бормочу «извините»,
случайно раскрыв дверь платяного шкафа,
заглянув мимоходом в пустой футляр от гитары.
У вашего брата, о жестокие братья,
если была интуиция – то исчезла,
он больше не в силах узнать, где стоит ее поезд,
в какой непонятной стране, на какой таможе...
Похоже на то, что он стал безнадежно старый,
стыдится играть с собой в чародейского графа,
он ходит по кругу в самом ужасном виде,
и дымится в его руке кофейная джезва.
Когда это кончится? Кто-нибудь, помогите!
Только семь оборотов телефонного диска –
и жизнь его будет намного длинней и возможней,
тем более, если ты окажешься близко.
Я действительно очень люблю тебя и беспокоюсь.

1988

ПРИЗНАНИЕ

Я бывал холостым, когда ты находилась в дороге.
Ненадолго, только до первого сеанса связи.
Собирая трактирную кофлу в свои чертоги,
опускался с ними вместе «из князи в грязи».
Такие провалы времен.

Хочешь, смейся.

У меня по-другому произрастала совесть.
О, сколько глубин таилось в задержках рейса!
О, в каких черных дырах исчезал твой поезд!
О, мистический опыт движенья!
О, относительность выбираемой точки отсчета!
О, я ощущал бодрящее головокруженье!
О, в меня вселялось чувство полета!
А сегодня, лишённая плавности и таланта,
душа моя все ощутимей уходит в пятки.
Амстердам... Лондон... Нью-Йорк... Атланта...
Сердце отстукивает твои пересадки.
Царь Кащей, от страха лишась рассудка,
в угол забился, отсчитывает втихомолку:
«Пристрелили медведя.

Поймали зайца.

Достали утку.

Вот-вот разобьют яйцо
обломить иголку...»

ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД

Ночь нарастает, царит, довлеет.
Лоб о тяжелые окна студит.
В доме у мужа жена болеет.
Никто не знает, что дальше будет.

Муж бродит один по пустому дому.
В глазах его бродят чуткие звери.
На пути к неизведанному и чужому
он одну за другой закрывает двери.

На кровать садится, берет ее руку,
Но гадать по линиям не умеет.
Как разогнать им тоску и скуку:
В доме у мужа жена болеет.

Он читает ей старую, детскую книгу.
И мурашки бегут за его ворот.
И вдруг прозревает, сходя до крика:
«Мы должны идти в Изумрудный город».

И они кладут провиант в корзину.
Уходят удаче своей навстречу.
И горящие окна глядят им в спину,
до тех пор, пока не догорели свечи.

БОЛЬШОЙ ВАЛЬС

Откровенья жадной флоры,
плющ, снующий без разбора
по замшелым стенам, крышам,
синим скалам по пути
в предрассветный мир, в котором
откровенья не в чести.
Так что больше не шути.
Не жалея ночного вора.
Дай мне горсть прохладных вишен,
штопай платье, вальс свисти...
На часах уж без пяти...
Век кончается. Вот слышен
тихий звон стекла... фарфора...
Мы с тобой узнаем скоро,
что успели обрести.

МОЛИТВА

матерь божия я с молитвою
перед лицом живым настоящим
не прошу поднять десницу твою
твоего рта говорящим

мне роднее стань моей матери
а пока сохрани маму мою
мастери судьбу нашу мастери
как молиться могу так молю

не дай ничего сиротского
разве мог посметь разве я
только нежного только плотского
пожелай мне темного странствия

если я всей брюшною полостью
снисхожу душою до нижнего
у меня всё есть полностью
не дай ничего лишнего

* * *

Вот и весь ты, как на ладони,
словно море вдали застыло.
Мамка зеркало ледяное
на печной оплот опустила.

Кто ты, если в крошечке вьюги
рассыпался пухом метели,
все хотел согреть мои руки,
а глаза по ветру летели.

Вот и вся наука в чалдоне,
что терять любимых да милых.
Через зеркало ледяное
я смотреть на тебя не в силах.

Ты родился в рубашке белой,
чтоб она в пути изорвалась,
чтоб душа, оставляя тело,
на чужом крыльце оставалась.

ВЕТЕР РОЖДЕСТВА

Холод древней полыньи
сплел снега с летящей солью –
мукомолью, богомолью,
погибанию сродни.
И, цепляясь за огни,
бродит перекатной голью.

Три столетия на ветру
шепчут в таинстве уюта
хоть кому-нибудь, кому-то,
кто невидим на миру,
что звезда – это минута,
догоревшая к утру.

Ветер бьется в каждый дом.
Стукнет в колокол над дверью,
разбросает чаек перья,
по окну хлестнув крылом.
Заметает помелом
зерна сна и суевья.

Тяжелеет голова.
Святой крепкий, мой бессмертный,
исчезающий, бесследный,
вспомни старые слова...
Но в ответ лишь беспросветный
над моей землей заветной
кружит ветер Рождества.

Солт-Лейк-Сити, 1997

* * *

Бабу ласковые руки
спеленают теплый саван.
Лягут вьюги на поляны.
Я заплачу у окна.
Горе нашему ковчегу,
Нашим мальчикам кудрявым.
Видишь, по снегу искрится
и катается луна.

Видишь, сердце побежало
по голубенькому блюдцу.
Наливными куполами
вспыхнул город вдалеке.
Вот и жизнь моя проходит.
Всё быстрее слезы льются.
Слезы льются по рубахе,
высыхают на руке.

Заплутала моя юность
золотым ягненком в ясли
и уснула осторожно
на соломенной пыли.
Где мой чудный Китай-город?
Сердце плещется на масле.
Навсегда угомонились
под снегами ковыли.

В Китай-городе гулянка,
девки косы поднимают,
оголяют белы плечи,
губы добрые дают.
А в раю растут березы,
а в раю собаки лают,
по большим молочным рекам
ленты длинные плывут.

Ах, куда же я поеду,
светлый мальчик мой кудрявый,
за прозрачные деревья
в легком свадебном дыму.
Поцелую нашу мамку
и за первую заставой,
словно мертвую синицу,
с шеи ладанку сниму.

Верно, я любил другую,
наши праздничные песни
помяни печальным словом –
я прожил на свете зря.
Новый день трясет полотно,
ветер стучает засовом.
И соломинка по небу
улетает за моря.

* * *

Раздвигался черный окоем.
И зола пылила через щели
бытия, обжитого вдвоем
за мгновенье, без году неделя.

Нам за счастье случилось поделом.
Наши души дочерна истлели.
По-щенячьи сжались в колыбели,
и всю ночь торгуются теплом.

* * *

Я корову хоронил,
говорил сестре слова.
На оплот крапивных крыл
упадала голова.
Моя старая сестра,
скоро встретимся в раю –
брось на камушки костра
ленту белую свою.

ЦЫГАНЕНОК

Все костыли, встающие под сердцем,
уйдут дворами в белом молоке.
Тебя притянут согреть и греться
к высокой, твердой маминой ноге.

Пока не повернется с боку на бок
кот у порога вялым сапогом,
побегай на ходулях косолапых,
выпрашивая дудку со свистком.

И что до них, до первых и последних,
горланящих, заламывая кнут,
когда тебя в узорчатый передник
по крохам на дороге соберут?

Мне б чубуком еловым расколотся,
схватить буханку умными плетями,
но в наших жилах растворилось солнце,
а кудри сладко пахнут лошаадьми.

* * *

Я под твой клинок потянусь плечом,
Не скакать с тобой за степным лучом.
То ль кишка тонка, то ли кость бела –
развали меня прямо до седла.
Я тебя, мой друг, все равно предам.
Слишком верен я травяным цветам.
В стременах привстань, чтобы от беды
мой гайтан размел все твои следы.

* * *

В чистом небе легким птицам нет числа.
Прошлогодний под ногами мнется лист.
Знает только половецкая стрела:
наша жизнь – всего лишь долгий свист.

Знает только москворецкая хула,
что мне сердце без печали не болит.
Улыбнешься ли – привстанешь из седла,
а по Волге лед уже летит.

* * *

Приносили в горницу дары:
туеса березовой коры,
молоко тяжелое, как камень.
Я смотрел на ясное крыло,
говорил – становится светло.
Голову поддерживал руками.
Мама в белой шали кружевной
пела и склонялась надо мной.

ПЕСНЯ

Александрю Еременко

Полыхнет окно прежней болью.
Я склонюсь плечом на ограде.
Ты встречай меня хлебом-солью
в самом красном своем наряде.

Шумные леса облетели,
дальние моря расплескались.
Не держи себя в черном теле –
мы одни с тобою остались.

Разве простынями по хатам
Ветер взаперти не гуляет?
Детушки твои по солдатам –
кто же нам теперь помешает?

Женихи твои по могилам,
И давно убит командир мой.
Милая, зови меня милым,
расплетая косы за ширмой.

За венцы да новые банты
атаман тебя не накажет.
Пусть над ним в раю его банды
черными знаменами машут.

Пусть ему в раю под заслуги
на три дня вручили невесту.
На три дня до нашей разлуки
душу горем бабьим не пестуй.

И от разговора с обманом
на крыльце стоять было скользко...
И большак клубился туманом
в ожиданье лютого войска.

* * *

В сторожке летели недели.
Мы только на олове ели.
Крапивою пахли пиры.
Сквозь невода длинные щели,
как нищенки, рыбы глядели,
и кутались в шали бобры.

Но словно трухою играли,
ворочались и замирали
холеные руки в шитье.
Шептали полынные чаши –
твое одиночество слаще.
Вода остывала в бадье.

Вот так и прожили случайно.
А матушка тихо и тайно
сама целовала дитя.
Дышала в лицо черемшою
и женщиной, будто чужою,
бывала со мною, шутя.

* * *

Говорила: станешь паном.
Счастье – только мне ли?
Над холодным океаном
птицы грустно пели.

Над холодным океаном
поднимался парус.
Говорила: станешь паном –
я с тобой останусь.

Я глаза твои закрою,
я тебя утешу,
над высокою свечою
образок повешу.

Пожалею Бога-Сына,
только встанет зорька,
вылью воду из кувшина
и заплачу горько.

* * *

Мама шаль тянула по траве,
до неба глядела и уснула,
королевне северной во Литве
называла имя страшное – Улла.

Королевна шла по глухим углам,
высоко у стен тяжелых вставала;
и меня к своим водяным губам,
словно круглый камешек, прижимала.

* * *

Поднимаясь с тяжелой ношей на престол,
разомлевший от дремучего вина,
с длинной лестницы сорвется мукомол,
мягче войлока, бледнее полотна.
Промелькнет, навек теряясь в глубину.
И, не ведая, что стало в этот миг,
удивленный, я свободнее вздохну,
будто горе развязало мне язык.

ПЕСНЯ

Маше Максимовой

В городе, во столице,
в городе первого сорта,
выдали девицу, выдали девицу
замуж за черта.

Не за воровского чечена,
не за старика с толстой мошною.
Бабка Аграфена, выведи из плена,
побудь со мною.

Бабка, дай мне совета.
Он видит каждое мое слово.
Креста на нем нету, не сживешь его со свету,
а на сердце у него – подкова.

А чресла его как мочала
в чавканье конского мыла.
Долго я молчала, а когда закричала –
от простуды простыла.

Он подарил мне алмаз на шею.
У него друзья все – артисты.
Если овдовею – глаз поднять не смею
на образ Девы Пречистой.

Он ходил по кругу кругами.
Он кормил меня пирогами.
В городе-столице – нет другой девицы
с белыми такими ногами.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ С НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ РЕБЕНКОМ

Разлетаясь за порогом,
вьюга мечется и злится.
Лучше плакать о немногом,
лучше думать о другом,
о предателе жестоком,
что не смеет повиниться,
о ребенке непослушном,
никому не дорогом.

Снова желтая пшеница
рассыпается с подводы,
вдоль по сумрачному небу
до последнего крыльца,
где Спаситель одиноко
зрит усталые народы,
как они очей не сводят
с милосердного лица.

Как мы вместе год за годом,
по ночам не засыпая,
жадно слушаем рыданье,
этот шепот за окном,
будто жизней нерожденных
птичья жалобная стая
ищет двери и ворота,
бьется крыльями в наш дом,

Чтобы я сказал неправду
в шуме горестной метели
о кровавой, черной мести
за доверчивость твою,
в час, когда задует свечи
над младенцем в колыбели
предрассветная дорога
в неизведанном краю.

И от снега на полянах
станет в горнице просторно.
И окажется привычным
все затихшее вокруг.
И сердечко перемелет
на муку любые зерна,
и мои глаза пустые
не увидит давний друг.

* * *

Ты, наверно, ничего не поймешь,
потому что я пишу в темноте.
Кто-то спрятал под полкой острый нож,
кто-то вскрикнул на далекой версте.
Кто-то выхолил коня на войну
с длинной гривой, наподобие крыл,
и, приблизившись к родному окну,
не спеша глухие ставни прикрыл.
Если голубь залетел в черный лес,
чтоб доверчиво упасть на ладонь,
вряд ли ловчего попутает бес
засветить ему в дороге огонь.
Если нужно, как задумал Господь,
променять шелка на старенький креп,
впопыхах твой гребешок расколоть,
наступить ногой на свадебный хлеб –
я пишу тебе письмо в темноте,
и гляжу перед собой в темноту.
А до подписи на чистом листе
я немного поживу... подожду...

Н е с к о л ь к о м и ф о в о Х е л ь в и г е

НОРВЕЖСКАЯ СКАЗКА

Это не слёзы – он потерял глаза.
Они покатались в черный Хедальский лес.
Их подобрал тролль.
И увидел луну.
Это не жаба – он потерял язык.
Тот поскакал в черный Хедальский лес.
Его подобрал тролль.
Увидел луну и сказал: «Луна».
Она подороже, чем золотой муравей,
И покруглей, чем мохнатый болотный шар.
Тролль хохотал, и его подобрал разъезд.
Чтобы не плакать, нужно скорее спать.

1984

ХЕЛЬВИГ (ОСЕННИЙ)

К августу дол заполнится паутиной.
Олени уйдут сквозь кусты, швыряясь хвостами.
Деревья шепнут, как народы: «мы умираем за короля».
На горизонт примостится плоское солнце,
ляжет поваленной гильотиной. И желтой,
быстро вертящейся монетой станет земля.
Водянистый туман, уходящий в жабы рты,
поющие глубже колодца, меняясь местами
с восемью берегами озера,
на которых когда-то был я,
дыхнёт медовухой в пчелиные соты.
И пенная шелуха мыла слетит с белья,
развешанного на заборах,
как лопухи.
А ты махнешь по небу кривой хворостиной,
прогонишь птицу, чтобы вернулась.
На четвертые сутки перейдешь поля,
и найдешь сапог жены
в шерге позолоты.

ХЕЛЬВИГ (ЦАРЬ)

– Государь, у твоего престола
курица сломала себе ногу.
Что нам делать?

– Подожги ей крылья.
Подожги знамена,
Бросьте в море весла на подмогу.
Прикажите снежной бабе бить тревогу.

– Государь, у твоего престола
бабы рыжие на голову упали,
а замужние по чресла закопались,
не подняв и под землей подóла.
Прикажите самой голой бить тревогу.

– Никогда не прикажу ей бить тревогу.
Вставьте в голову ей мельничные крылья.
Прикажите снежной бабе бить тревогу.
Пусть князья выходят на дорогу.

– Курица сожгла весь флот почтовый.
Государь, вдоль твоего престола
муравьи проходят в твою печень.
И никто дороге не перечит.
Что нам делать, ты нам нужен новый.

– Я сейчас сжигаю свою старость.
Каждой третьей подарите море.
Сшейте мне кафтан из вечной шерсти.
Снежной бабе подарите вымя.

ХЕЛЬВИГ (ПРОСЕЛОЧНЫЙ ПРИНЦ)

Хельвиг, гони комаров дуновением губ.
Вытащи свой обгорелый нос из цветочной пыльцы.
Твоя правая ладонь была сильнее овцы,
а когда ты ее раскрыл, она стала изысканней карты
торфяных болот. Было видно, что по ней прошли
самые острые резцы, чтоб всегда удержат
глубокую влажность квартиры. Если бы я был твоим
отцом, я сдал бы тебя в бонапарты.
Я понимаю, что ты перепахал Европу носом, как крот.
Я знаю, за сколько целковых ты продашь свой труп.
Попробуй распороть сушеной трескою Господень живот.
И потом деревянной рукой с ледяным кольцом
расчеши мне мои бакенбарды.

ХЕЛЬВИГ (КАЗНИМЫЙ)

1.

На виселице ты заверещал, как сады сверчков.
Ты навис своим бормотаньем со всех сторон.
И народы упали, они погрузились в сон.
И легли друг на друга вповалку, будто притон.

И с соломой перемешался царевны альков.
Швейной иглой прошли вдоль ее позвонков.

Потом ты закрыл глаза, чтоб поднять паруса
Погибшей флотилии. И раздвинулись плечи медуз.
И мачты, содрав с себя ил, поднимали леса.
Они искали твой парус, словно в колоде туз.

И палач расстелил свою душу на медном столе,
Только чтоб тебя не было на земле.

2.

Они поднимали вверх лица. Им снился сон.
Костры и кресты. Ты качался в холодной мгле.
Ты был хохочущим снегом. На твоём челе
зима изменяла поклонами свой наклон.

Скорее, чем перстень провалится в решето,
скорей, чем слезою захлебнется твой рот,
ты поверишь, что тебя ничто не спасет.
И серпами над головами лязгнул восход.

В бухте стукнуло в камень триста судов.
Их тащили триста твоих нерожавших вдов.
А ты захохотал щербато навеселе,
едва увидал радугу на весле.

И царевна Хельга тоже в гости пришла,
как студень, качалась она поперек седла.
А ты расчесывал пряди старой метле.
Тарабанил ногами джигу в своей петле.

ХЕЛЬВИГ С ЯБЛОКАМИ

Внесли гору яблок, расцелованных твоей женой.
И теперь подсматривают в дверную щель,
как ты одно за другим переносишь их в свою постель,
из шаров собираешь закатные облака.
Ты увлечен их свечением, глубиной,
хранящей внутри сжатого кулака
дрозда поскрипывающую трель,
сочный треск разрываемого силка.
Ты берешь их на руки, словно ты их отец,
они ластятся, подставляют бока.
У кого-то из них должен быть брат-близнец,
только близнецов ты не отыскал пока.
Их больше, чем покоренных тобою стран,
но только одно сердце, только одно
должно покатиться во вражий стан,
но решать *которому* – тебе не дано.
Они растут на руках, меняют окрас,
страданья пленницы переполняет их свинцом.
И вот просыпаются на пол. И в первый раз
мы видим тебя с растерянным лицом.

ХЕЛЬВИГ (НИКЧЕМНЫЙ)

Листья легли, словно оспа на твое лицо,
когда ты решил стать самым никчемным,
самым последним, самым бездомным.
И сразу же в этот миг в село вкатилось
и пошло плясать колесо с ободом раскаленным,
рассыпая костры, сеновалы, морды,
сдвигая фьорды в Господень лик.
Оно дотла спалило крыльцо,
на котором стояли старуха твоя и старик.
И народам стало холоднее еще.
И девушки вымыли лица кислым борщом.
И Хельга сказала: «Сейчас для тебя, холая,
по самой тонкой нитке пройду голая я.
Для рождественской для тебя открытки.
Для постройки нового корабля». И слёзы
раскаянья Хельвига, словно две огромных
улитки, скатились на землю. И их приняла земля.

СВИТЕР ХЕЛЬВИГА

Мargarite Кагановой

Зимою любая одежда невелика.
Бабка пряжу пряла и забылась глубоким сном,
смешала с шерстью лохматые облака,
зацепила свой локон веретеном.
Десять внуков было у нее, семь сыновей.
И молитва на северные острова.
До последних, до Вавилонских кровей
Распустилась ее смерти канва.
Хлопьями она рассыпалась ниц,
чтобы ты напоследок зашел,
когда тени тяжелых спиц
раскачивали престол.
Хельвиг на пороге стер каблуки.
Теплей, чем родная мать,
получился свитер. На нем две женских руки
ждали царя обнять.

ХЕЛЬВИГ (СИЮМИНУТНЫЙ)

Швырнешь в долину горсть, черную горсть,
в деревьях черными сапогами запляшут смутьяны,
из горла у песни щучью кость
достанут зашивать свои раны.
Народы облокотились на твою трость,
в карманах их пиджаков висят стаканы.
Швырнешь россыпь криков, стаю скворцов вернешь
желуди перебрать на хозяйской риге.
В чей череп ложится тяжелый нож,
не разобрать в многоголосом крике.
У плетня топчется молодежь,
Хельвиг смотрит взглядом ханыги,
как, сбитая ногтем, платяная вошь
вгрызается в переплеты Великой книги.

СТАРОСТЬ ХЕЛЬВИГА

Солнце слезится в глазах, будто чистят лук,
по углам шуршит пестрой курицей тишина,
обволакивая паклею каждый звук
табачного кашля в полынных парах вина.

Дом исхожен народами, пыль соленых сапог
отпечаталась прибором в песке.
И кроны каштанов раскачивают потолок,
и роняют рыбацкие сети на чердаке.

И душа шелушится, словно луковица в тепле,
все пытаюсь открыть глаза,
ее глубина исчезает в сыром дупле,
сшибает прелью, словно солдатская кирза.

Но тебя нигде нет. Только вот старость твоя,
в светлом капище выставленная напоказ,
принимает любого вошедшего в сыновья,
благословляет, не открывая глаз.

Твоя старость, словно повадка лисья –
Ускользнуть... оставить в тоске,
оказалась легка, как осенние листья,
качающиеся в гамаке.

НАД ХОЛМОМ *SIR JOHN'S HILL*

Над холмом Sir John's Hill
Ястреб горящие крылья свои раскрыл.
В ореоле огня зависают крючья когтей,
Летящие виселицы ловчих сетей, к которым по мертвым
Лучам из его глазниц тянутся стаи речных бестолковых
Птиц, вместе со звуком какой-то детской игры,
Мельканием ласточек, шорохом в камышах,
Сумраком, укрывающим наш залив.

И сейчас

Над землей продолжается этот беспечный свист,
Обращенный к горящему тайберну, до поры,
Пока скованный ястреб не разобьет его в прах,
И священная цапля, выполняя хищный обряд
Не склонится к надгробию вод реки Тоуи.

Вспышка. И можно забыть, что было светло.
Чепец черной галки на свое чело
Надевает призрак холма Sir John's Hill.
И безумные птицы, спеша из последних сил,
Летят прямо к ястребу, как на последний огонь,
На крутой высоте ломают крылья свои
В ударе ветра над рекой Тоуи.

Где-то там,
Будто в рыбачьем сне, шевелится галька, рыбы
Гуляют на дне; отмели желты, словно песок на луне;
«Дилли-дилли, – нас огненный ястреб зовет в вышине, –
Сейчас вы встретите смерть, идите ко мне»;

Я раскрываю страницы бегущей воды,
И тени песчаных крабов поводят клешней на самом из
Откровенных ее псалмов.
Я слышу каменных раковин медленный слог:
Смерть чиста, как на пристани первый звонок.
Все поет восхваление ястребу и огню,
Его раскаленным крыльям, змеиным глазам,
Когда в пронзительных сумерках над холмом
Единственным солнцем становится он сам.

Я пою и благословляю впредь
Зеленых птенцов залива, кудахтанье трав:
«Дилли-дилли, позволь и нам умереть».

Мы печалимся о судьбе жалких птиц, им не покинуть
Прибрежных вязов, сырого песка...
Я и цапля. Это наша тоска.
Я – это юный Эзоп, что слагает стихи для наступающей
Ночи в расщелинах скал, и священная цапля, поющая гимн
В чистой юдоли, где море латает свои паруса,
Где воды танцуют и закрывают глаза;
И на ходулях, как дети, идут журавли,
Не оставляя в заливе своих следов;

Это мы, старая цапля и я,
Беседуем у подножья холма Sir John's Hill
О грехе этих громких, веселых птиц,
Которых Господь пожалел лишь за глупый свист.
(Он почему-то спасает и воробьев
И слышит песни их заблудившихся душ...)

Цапля грустит среди высокой воды,
Что-то шепчет, кивает своей головой.
Сквозь сумерки я вижу ее силуэт – он отражается, тихо
Бредет по воде, ловит рыбу в слезах реки Тоуи,
Бледный, как едва подтаявший снег...

И вот только хохот совы в пустоте,
В спокойных ладонях скомканная трава.
И больше не слышно возни диких кур
В разграбленных вязах холма Sir John's Hill.

Цапля зябко стоит на ступенях волн,
Создавая всю музыку, я слышу ее,
Эту музыку тальниковой реки.
И перед падением ночи я составляю слова
Во имя душ уплывающих мертвых птиц
На этом камне, разбитом шатаньем времен.

НА БЕДРЕ БЕЛОГО ВЕЛИКАНА

Там, где плачет птица кроншнеп в горле сомкнутых рек,
И холмы под луной обсыпает сверкающий мел,
Ты идешь по бедру великана, ты ищешь ночлег
Среди женских, бесплодных, как камни, мертвенных тел.

Год за годом, подобно мольбе безымянных калек,
Их раскрытые чресла бредят живою водой;
И зияют умытой дождями, ночной пустотой,
Только крик их младенцев опять отложен на век.

Разгребая песок пятернями огромных когтей,
Девы плачут, как птица кроншнеп в горле сомкнутых рек,
Словно видят сквозь скользкие травы опущенных век
Мелководные проблески рыб, игры малых детей...

Помнишь, кто-то любил зябкий шорох гусиной зимы,
Обходил по застывшим дорожкам глухие дворы,
Поднимался в горбатых телегах к вершине горы,
Рассыпая с нее ключья сена из рваной сумы...

Кто-то вел хороводы под куполами светил,
Чтоб сейчас пастухи и пастушки, теряясь во мгле,
Берегли его бедную душу в ячменном тепле,
И стога на полянах хранили нетленность могил...

Этот прах был когда-то целебной плотью корней
У садовника грубого, будто коровий язык,
В отсырелом хлеву, где плескался ужасный родник
Ежевичной, хмелеющей жижи на мордах свиней...

И под солнцем, пронзающим кость золотой иглой,
И под бледным, играющим шелком холодной луны
Ты мечтал, уповая на милость озерной волны,
Что прибрежные мертвые камни не станут золой.

Твои жены качались, как клевер пчелиной молвы,
На полях, уходящих в предсмертную дверь сентября,

И монахи, с крысиной ухмылкой лесного царя,
Всё визжали, покуда крутое знаменье совы

Не очертит им грудь.

Этот праздник действительно цвел
Пышным цветом. И в полдень оленье стада
Шли на поиск любви, и трубили ночной произвол,
Чтоб разжечь фейерверки лисиц, любопытство крота...

Чтоб гусыни, стеной на сетках кроватных пружин,
Взбили сладкие сливки в своей необъятной груди...
Чтобы ты навсегда и навеки остался один,
И оставил стук их башмаков далеко позади...

Чтобы плакала птица кроншнеп в горле сомкнутых рек...
(Ведь никто не родился, никто не оставил свой след,
Никакой заболевший ветрянкой смешной человек,
Доброй Мамой Гусыней завернутый в клетчатый плед...)

Кто ж теперь поцелует губами клубящийся прах,
Если в прахе качается маятник старых часов,
Ключья сена гуляют вприсядку, и в ржавых замках
Не осталось кухонных рецептов былых голосов.

Если каждую розу дотла иссушил менестрель,
Но велел прославлять, словно розу, ржаной каравай.
И церковные гимны звучат, как пастушья свирель,
Вызывая когда-то умерших в пастушеский край...

Научи меня детской любви под соленым дождем,
После смерти любимой, ушедшей в последнюю ночь.
Если имя на траурном камне прочитано днем,
Его ночью не слышит счастливая царская дочь...

Лишь по этой царевне рыдают могилы холма...
Лишь по ней плачет птица кроншнеп в горле сомкнутых рек...
И пожары соломенных чучел, сошедших с ума,
Польхают из старого века – в невиданный век...

МОЙ ДРУГ, НЕ СПЕШИ УХОДИТЬ В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ

Мой друг, не спеши уходить в дальний путь,
Отпразднуй неистовый свой юбилей,
Держись, не пытайся украдкой уснуть.

Пусть умники знают, что тьма – это суть,
От правильных слов им не станет светлей.
Постой, не спеши уходить в дальний путь.

Хорошие люди живут как-нибудь,
Встречая в порту паруса кораблей.
Держись, не пытайся украдкой уснуть.

Туземцы пытаются к солнцу прильнуть,
Рыдая всю жизнь над затеей своей.
Постой, не спеши уходить в дальний путь.

Глаза застигает вселенская муть,
Глазами слепца погляди веселей,
Держись, не пытайся украдкой уснуть.

И ты, мой отец, различимый лишь чуть,
Заплачь обо мне, прокляни, пожалей,
И ты не спеши уходить в дальний путь.
Держись, не сдавайся, воспрянь как-нибудь.

ЭЛЕГИЯ

Был я больше, чем пацан на вершок,
Из церковной школы тертый калач
(Балабол искал любви идеал),
Я тихонько забирался в кусты,
И глядел, пугаясь сплетниц-сорок,
И всех девочек, играющих в мяч,
Я, бледнея словно мел, обожал;
Но как ангел неземной красоты
Для меня была женою луна
И, пожалуй, даже царскую дочь
Я мог бросить, возгордившись сполна –
Пусть рыдает себе в черную ночь.

Был я парнем, и совсем не юнцом,
Ерзал зверем у церковной скамьи
(Балабол стал очень падок на баб),
Разгорелся мой телячий восторг,
Только свистну под окошком скворцом
Тут же девы самой честной семьи
Опускают мне веревочный трап;
Где б ни встретил нас зарею восток
В тихом омуте цветных одеял,
Где б я тайны золотые храня,
С нижних юбок лепестков ни срывал
Всюду в ночи узнавали меня.

А потом я стал не мальчик, а муж,
Словно черный крест на весь Нотр-Дам
(Балабол хотел лишь ласковых слов),
Окрепчал мой бас, как лучший коньяк,
Но я больше не губил женских душ,
Посещал я лишь назначенных дам,
Если часики мне скажут «тик-так»,
И я верил, что шальная метель
Не настигнет меня в божьей глуши,
Белоснежную стелил я постель
Для усталой моей, черной души.

Половиной стал того, чем я был,
Видно прав был рассудительный поп
(Балабол решил уйти на покой),
Не гуляющий ночной ветерок,
Не пожар, что усмиряет свой пыл,
А лежалый, почерневший сугроб
Над бегущею весенней рекой,
И душа моя, как слабый дымок,
Помаячив в моих влажных глазах,
Разгадала мои глупые сны –
«Я найду тебе жену в небесах,
Ты нигде не встретишь лучшей жены».

А потом я стал почти что ничем,
Черной платою за мой грешный век
(Балабол грустил по миру теней),
И душа моя, как в день именин,
Принесла любовь в мой тихий Эдем,
Чтоб средь ангелов и сирых калек

Я узнал своих ужасных детей!
Чтобы скромность с тяжким взглядом ундин,
Отпевая, пеленала меня!
Чтоб в невинности разверзнулась твердь!

Чтоб мерцающая языками огня,
Добродетель позвала меня в смерть!

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Это сказка зимы.

Ослепленный хлопьями сумрак идет вдоль озер.
И поля отплывают от фермы, словно дымы,
пронося сквозь ладони безветренный снежный костер.
И дыхание стад зависает возле кормы.

Снегопад замерзающих звезд.
Запах сена в снегу, упреждающий взгляд затененной
в лощинах совы,

Серебристого дыма над крышей изогнутый хвост,
Где озябшую сказку баюкают руки молвы.
И река прорубила дорогу средь мерзлых корост.

В этот день, когда состарился мир,
На излучинах веры, чистой, как свадебный хлеб,
Человек развернул бескрайний, истлевший до дыр,
Полыхающий свиток своих одиноких судеб.
И остался в крестьянском доме, жалок и сир,

Посредине равнины. Словно на маяке,
Окруженном снегами, навозом холодных дворов,
Храпом мертвых овчарен, курятниками вдалеке.
Он приподнял своим взглядом снега покров.
Рассвет начинал гадать по соломе, как по руке.

Оживали стада. Слуги стиснули рот.
Кот застенчивым шагом шел навестить внучку-мышь.
Птицы жадно кудахтали. Молочниц поход
В башмаках деревянных стучал в забеленную тишь,
Воплощая скромную нежность домашних забот.

Вот он встал на колени, исполненный слез.
Он молился у вертела, перед кипящим котлом,
Перед каждой чашкой, и тени, как спицы колес,
Качали его, и несли, и дарили теплом,
И приближали к зиянию любви, и несли под откос.

Склонивший колени на холодных камнях,
Он рыдал. Он молился перед алтарем закрытых небес,
Чтобы голод, заплакав волком на голых костях,
Бежал меж хлебов и конюшен, наперерез
Радуге и луне в беспощадных сетях...

В дом молитв и огней,
Где белизна любви ослепляет, как соль,
Наощупь в рассветном тумане, клонясь все сильней,
Он нес свою ношу в непрошенную юдоль.
Она колотилась во тьме. И рассыпалась в ней.

И только ветрам,
Хватающим стаи птиц, было дано
Указать им дорогу к сытным, спелым мирам,
Где на языках урожая тает пшено.
И он все бежал, словно снег, по чужим кострам

В междуречьи долин.
Захлебнувшись от жажды, на лету свернувшись клубком,
В нечеловечьей купели спеленутый сын.
И невесты постель исчезала с каждым глотком
Божьей веры. Он остался один.

Освободи – кричал он.
Освободи меня, – я, всё потеряв,
Катился вповалку с невестой под крылья ворон,
Я искал белое семя в зелени трав,
Во мне умирала плоть погибших времен.

Послушай, поет менестрель
Где-то там, в деревнях. В пыльных чуланах лесов
На крыльшках мух живет соловьиная трель.
Это сказка зимы. Мечты на ветрах мертвецов.
Голос усталой воды. Постаревший апрель

Говорит. И это рассказ
Колокольчиков на рукавах пустотелых ручьев.
Звон росы на размолотых листьях. Как в первый раз

Этот снег из кадилъниц. И прорезь разинутых ртов
Голых скал – словно время, пронзившее нас.

Чья-то рука или звук
Распахнули темную дверь в ушедшей стране.
И горящей невестой в лучах и движении выюг
Вознеслась дева-птица, как в деревенском сне.
И грудь ее в пятнах крови и снега была как испуг.

Смотри на движенье танцоров на снежном лугу,
Ликующих в свете луны, как в пыли, голубей.
Могилой подкованы кони, кентавр на бегу
Умирает, растерзаны пастбища птичьих семей.
И высохший дуб от любви изогнулся в дугу.

И, словно под дудку, высеченные в камнях,
Пляшут конечности. Спутываются в клубок
Морщины бульжников. И на столетних пнях
Видна каллиграфия листьев. Обрывается слог
Воды. И дева-птица сверкает в полях.

Вознеси свои дикие крылья. Пройди насквозь
Своей ласковой трелью по подметённым домам.
Осень всегда побеждает, так повелось.
Человек, отряхни с себя отцветающий хлам.
Ты стоял в этой долине, как в горле кость.

Он стоял под покровом своих исполненных слёз
Возле вертела и котла в свечении дров.
Голос птицы сплетался, чудней виноградных лоз.
Человек бежал среди коровников и хлевов,
Словно уже упал на бездыханный плес

Во вселенной фермерских лет,
Где в зелени, как священники, умирают грачи.
Где снежное чучело бежит оленю вослед,
Где молоко, как пепел, льет из печи,
И катится по холмам, излучая свет.

Он бежал сквозь поющие лохмы псалмов,
Он наступал на лед онемевших озер.
Подушки отсыревали в горести слов.
И девица-птица раскрывала свой взор,
Но к ее временам был никто не готов.

Чтоб собрать воедино птицу и небеса
В одну невесту под рассыпанием звезд,
В разлетанье семян по просторам, как сор в глаза.
И двери скользнули, раздвигая погост.
И птица дынула в кресты как в паруса.
Она приземлилась, ее грудь легла
В чашу ферм, в снежно-белесые хлеба.
Сказка зимы завершилась, она не могла
Быть длиннее молитвы твоего Господня раба,
В которой последний грех, в том, что ты была.

Танцы гибнут. Менестрель обрел свою смерть.
Песни сменяются шепотом, забираясь в альков.
Рыбы просвечивают сквозь ледяную твердь,
повторяя стремительный бег детских коньков.

Мы сделаем только то, что сможем посметь,
Только то, что посмели кентавр и соловей,
Умирая вместе с блекнувшей, жадной весной.
Ликование камня в его благородстве кровей
Обернулось грустной морщинкою костяной,
Вдохнувшей ветра озер, как суховой.

Словно царевна в хрустальном гробу,
Птица-дева качалась, баюкая сама себя.
Ее крылья сходились, как руки к усталому лбу,
Ее бедра теплели, в трубы свои трубя,
Чтобы души невест прикусили губу.

Она опускалась в постель,
Сгорающая, словно в стогу, от твоей любви.
Мир все быстрее скручивался в колыбель.
Иди, ищи свою птицу, пытайся, лови.
Раз цветы из твоих белых рук разобрала метель.

СТИХИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

На солнце горчичного семени,
Возле наклонной реки и моря бугристого,
словно песчаный ландшафт,
Бакланы идут против ветра,
И дом на верхушках ходуль дрожит среди птичьего клетота,
Птичьих разумных бесед.
Твой праздник летит, словно плавни по бесконечной воде;
Мелькают, раскручены ветром,
Твои тридцать пять скользких лет;
и цапли стоят, словно копыя,
У входа в залив.

Вокруг твоих губ шелестят
Лопухи камбалы; согласно броскам твоих слов, замая следы,
Пылят траектории чаек;
И птица кроншнеп, в волнах, где кишат, как в могиле,
морские угри,
С трудом продвигается к смерти;
Подобно тебе, жилище рифмовщика тоже имеет язык;
И некуда спрятаться
От колокольных молитв... И цапли благословляют
Сегодняшний день.

Так пой в водопаде из перьев,
Сверяя пути к страданию,
словно сверяешь полет каких-нибудь
Зябликов под ястребиным крылом,
Скольжение мальков по подводным дворцам кораблей
На пастбища выдр;
И в своем скособоленном доме, пробившись сквозь хлам
Своей тленной жизни,
Иди по пятам за цаплями в белых, как саваны,
Длинных плащах;

Поскольку река ничуть не короче,
Чем жизнь, – хоть соткана из алтарей копошащихся рыб.
Пожалуй, ты знаешь, *как*, приближая

Твой час, работает море в тени искусителя; пусть
Дельфины уходят в разбитый
Тортиллами ил, и стрелы замшелых печатей, несущихся вниз,
Стремятся убить все и вся...
Только это их кровь уже запекается в устье на краешках рта,
Испачкав прилив.

И в шатком, изъеденном солью молчании
Волн тебя отпевали удары колоколов; их было всего тридцать
Пять на цепях падших звезд, стучащих
По старому черепу, полному слов иссохших
любовных историй.
И завтрашний день ломился в
Незрячую клетку, но прежде чем тьма разверзнется
На мириады горящих кусков,
Наверное, в ярости рухнет твой ужас
И встретит любовь.

Чтобы ты, неприкаянный, вольный стрелок
По дороге к огню своего неизвестного Бога
воспринял как суть
То, что свет – это только лишь место,
А тьма – это путь; то, что небо всегда справедливо,
Пусть даже небес больше нет
И не будет! На радость Творцу всходят полчища
Мертвых простой ежевикой
В лесах, и несметные россыпи ягод толпятся
В глазах.

Там гуляют босыми, любуясь
Изгибами бухт; и прибрежные звезды горят,
Будто нас уже нет...
Мозг орла, корневица китов, крючья диких гусей,
Нерожденного Бога и Сына
Единый портрет, для которых любая душа,
как взыскательный
Жрец, одурачена и благословенна в

Рассветном краю, где единственным шумом становится
Шепот небес.

А у тьмы – долгий путь, и один
На один по ночному простору земли ты пойдешь вместе
С каждым, кто жив; со стихами
Молитв; и пронзительный ветер сметет наши
Кости с холмов; ранит камень
Кривая коса, и безумие вод с вероломною яростью
Бросит скелеты акул
К догорающим звездам, в пустое Господне
Лицо,

Чье сиянье уже полиняло
В пустынных сердцах; там, где души дичают,
Как кони с кровавым зрачком:
Так позволь мне заплакать, как цапля, в мой день именин,
И с языческим стоном идти по дорогам
Руин мимо ветхих проросших баркасов, чтоб ты
Все же смог произнести
Эти благословения вслух, даже если я плачу тяжелым,
Чужим языком:

Четыре стихии и пять
Человеческих чувств, а что-нибудь большее – это только
Любовь; но к ней мы идем сквозь
Самый запутанный ил, бьем в колокол над ледяным
Королевством зимы; легко узнаём
Оставленные города и море, которое вечно само по себе –
Баюкает синие глобусы в лапах медуз,
Перебирает огромные кости на дне. А это самое главное,
Что я мог бы сказать, –

Чем быстрее я двигаюсь к смерти,
Пустой человек, разрывая свои оболочки одну за другой,
Тем цветастей становится солнце,
Тем ярче клыки обветшалога дикого моря, тем радостней
Шторм, по которому я создавал
Свою веру, оценивал мир, чтобы он стал совсем

Другим миром, который для нас
Каждый день začínает с торжественных слов
Похвалы;

И я слышу звучанье холмов
Догоняющих высь, вслед за жаворонком грозовой весной,
Зеленеющих ягодной осенью, чтобы теперь
Ты узнал то, что ангелы – частые гости потерянных душ,
Что глаза постепенно светлеют, что люди светлы,
Как костры на стоящих напротив речных островах. Вас никто
Не забыл, вас никто не оставил впотьмах, и сейчас
Я могу быть спокоен, когда ухожу.

В ДЕРЕВЕНСКОМ СНЕ

Никогда, моя девочка, скачущая верхом
По долине прабабкиных сказок в волшебной стране,
Не верь и больше не думай о самом плохом:
О том, что однажды из чаши выпрыгнет волк,
Тряся овечьей шкурой на серой спине,
И разорвет твоё сердце, как тоненький шелк.
И твой лучший год растворится в речной волне.

И пока, моя милая, не омрачая лица,
Спи и рыскай по королевским дворам
Крепко-накрепко сделанных сказок, где пастухов
Не ведут, как сказочных принцев, по пышным коврам,
Не отдают им ласковые сердца,
Не внимают их басням до первых ночных петухов,
Отвергая, как прежде, все тот же восторженный хлам

И невинную ложь, что тянется без конца...
И моя наездница плачет даже во сне...

А от сговора ведьм тебя спасут камыши,
Башни леса, цветок деревенского сна в своей белизне.
Тебя минует даже лягушечий крик,
Но только лишь колокол повернет свой язык,
Ты тотчас усни, не бойся, и не спеши

Поверить, что страшная пена на помеле
Способна высушить кровь тех, кто скачет верхом.
И разве шаги испуганных духов в горах
И шорох сомнабул не отзовутся стихом
Где-то в другой обетованной земле?

Если холм дотянулся до ангела, если во мгле
Ночная птица запела в монастырях,
Прославляя трех Дев Марий и розовый лист...
Sanctum sanctorum звериного глаза в лесу
В гимне дождя, там, где мертвые облики сов
Бьются, как головы, в колокола на весу.

И восхождение звезд похоже на свист
Дикой малиновки. Лисы роняют слезу,
И трава вырастает на пастбищах кухонных слов
Для создания новых историй. Больше всего
Бойся не зверя под старую тайную плаща,
Не стройного принца с клыкастым чувствительным
ртом,
А Вора, что вьется, как кроткие листья плюща,
Возле влюбленных. Бойся его одного.

А деревня – священное место, её существо:
Луна и молитва. Так было и будет потом.

Останься в ней с миром. Усни в своем тихом доме,
У рощи, где прыгают белки, укрытая льном,
Под яркой звездой, сгорающей на ветру,
Под стоны погасших теней, колотящихся в дом;

Тверди свои клятвы куда-то в пастушью суму,
Но знай, что коварному Вору, ему одному,
Подобно прохладному снегу, росе поутру,
Удастся открыть твои двери. Покуда вдали
На каменной башне не вздрогнут колокола,
Качая мою последнюю в жизни любовь,
Прабабкиных сказок опущенные удила,

Чтобы моя душа сорвалась с мели,
Уходя по распахнутым водам, туда, где прошли
Эти ночи; где ты родилась и растаяла вновь.

А воры находят свою дорогу всегда
С небрежностью майского ливня, что скачет верхом,
В поспешности ветра, сорвавшего сено с луны,
Разбуженным гомоном листьев, запечным сверчком,
Крышей, куда упадут скорлупки дрозда,
И миром, что рухнул, но, чтоб не уйти в никуда,
Кружится с нами в молчаньи своей тишины.

2.

Ночь, отпечатанный в небе полярный олень,
Длинные шумные ленты в когтях птицы Рух.
Сбивчивый ход древней саги, рассказанной вслух
Карканьем черных грачей.

Перехлесты страниц

Ветреных, рваных заветов отчаянных птиц.
Рыжие искры лисиц на краю деревень.
Ночь, и далекие свисты в терновых венцах
Темного леса. Биение крови в листве.
Звонкий ручей, замерзающий в рыхлой канве
От соловьиного снега.

Мятущийся дух

Старой, заросшей лощины. Замолкший петух,
Что, как монашек, горюет о падших сердцах.
Шелест историй и дрогнувшие весы
Взбитых дождем свежих сливок на белом дворе.
Долгая сага от ящерицы в мокрой норе
Тянется до серафима.

Пусть все говорят

Только о тех, кто, как ветер, меняет наряд,
Только о тех, кто приходит походкой лисы.
Все это только лишь музыка. Зыбкий песок
В лицах задумчивых чаек на мертвой волне.
И жеребенок на хрупких копытах в забывчивом сне
Шел по поверхности озера.
Словно тростник
сорванный ветром. Единство стихий – это лик
Лучшего Бога, его рассудительный слог,
Тот же, что воздух, земля, вода и огонь...

Пусть моя девочка рыжеволосая спит,
Тихо, чтоб небо смогло бы перекрестить
Любые планеты, и колокол смог бы разбить
Взгляд злого Вора – и бросить в мою ладонь...

И мне эта смерть нужна только лишь для того,
Чтоб твое сердце повернулось вокруг
Планеты по имени солнце. Но твой страшный друг

Приходит опять, словно рокот прибоя, как снег,
Созданный для кинофильма, как нынешний век,
Даже без нас сознающий свое торжество.

Им бы украсть не тебя, ту, что скачет верхом,
Не волосы и не глаза, не тревожную боль,
А начисто вычерпать моря горящую соль,
Забрать твою веру прабабкиного веретена,
Чтоб ты, беззаконной и голой,

Осталась одна

Свыкаясь под утро с последним, счастливым грехом.

Всегда, моя девочка, бойся покоя могил,
Только они открывают неправедный путь
В дома, где такие, как ты, попытались уснуть,
Но тут же проснулись от деревенского сна,
И их безнадежная правда
Вдруг стала ясна.

И так же бессмертна, как хохот бессмертных светил.

Скелет человека построен по розе ветров.
Он достаточно легок. Он перекошен
гравитацией. Несколько громких горошин
вылетают из дудки, прыгают меж дворов...
Наш вокабуляр не очень сложен.
Если сложен из человеческих слов.

Я сказал: «Идите за мной». Я больше не пел,
что мир мне навеки мил и что свет мне бел...
Как подобает классическому герою,
я под шóмполами прошел вдоль строя.
Потом посмотрел на небо и протрезвел.

Их главарь стоял в отдаленье, смотрел в океан.
Не удостоив меня и краешком глаза,
он изучал горизонт. Сволочь, высшая раса,
он был недвижим, горбат. Он ждал часа,
чтоб поднять свои черные орды
над сотнями стран.
Крыло его было острым, как ятаган.

Общались мы сдержанно. Лишь подошли
к заколоченной станции
Пенсильванской железной дороги.
Город под боком. Светило взойдет на востоке.
От причала вовремя отойдут корабли.
И птицы взлетят в назначенные им сроки.

Мы молчали и вглядывались в горизонт.
Осознав суть момента, я избегал панибратства.
Было ясно, – кому-то из нас пора убираться
восвояси. Мы жадно вдыхали озон,
перед началом боевых операций,
решая, кто из нас первым
всколыхнет гарнизон.

Нам казалось, у нас за спиной вырастают поля,
в шевелении гибких, живучих ростков Мезозоя,

что прорвались сквозь толщи золы.
И, смыты грозью,
превратились в гусиные стаи. Теперь от нуля
было можно отсчитывать время. Горючей слезою
мы заплакали, что именно нас родила земля.

Я сказал: «Теперь уводи своё войско в туман».
Господь нас увидел... Он умыл свои руки...
Он никого из нас не взял на поруки...
Мы все выполняем Его непродуманный план...
И, шархнув меня тенями, ввысь поднялись Его слуги,
становясь всё сильнее в детском испуге.

Труха их желудков светилась скелетами рыб
и яркой, промытою галькой арктических фьордов,
и звезды мешались в полете с бросками аккордов
в катящемся шуме обрушивающихся глыб,
заглушая любой человеческий всхлип.

Космос кишел. Он раскручивался, как раствор,
насыщаясь историей, втягивая в свой ствол
радиацию наших эмоций, инстинктов, ликов,
сложенье частот человеческих и птичьих волн.
И, ничем не растрогавшись, ни к чему не привыкнув,
не находил возможность смягчить произвол.

Я отдал свой приказ. И потом я пошел к своим.
В этот ранний час меня нигде не ждали.
Гудзон точил ряской последний Рим.
Уходящий век выплавлял старикам медали.
Я стоял на земле. Вокруг простирались дали.
Мне дано было тело. Я не знал, что мне делать с ним.

* * *

Черным крестиком ковчег
укачал меня в тумане.
Кружит-кружит белый снег
на столе в моем стакане.
Засыпает человек
и во сне живет в обмане.
Засыпает человек
и становится невидим.
Мы с тобой под утро выйдем
к перекрестью теплых рек.
Мы отыщем в океане
перекрестье теплых рек.

ИЗ « В Ы Х О Д А К М О Р Ю »



* * *

Собачьего вальса глухие шажки
в окне над откосом фабричной реки,
устало, как звуки кроватных пружин,
плутают в клаксонах проезжих машин.
Уже увядает продажа цветов,
ненужная роскошь для жаждущих ртов,
в последний разок поглядев свысока,
уходит за ставни сырого ларька.
Мне трудно понять – я в гостях или нет,
но судя по облику старых штиблет,
привычных и к этим пустым мостовым,
я мог бы считаться отчасти своим.
Обычная хитрость жить в разных местах,
подолгу стоять на вокзальных мостах,
чтоб, спутав по новой свои же пути,
ты мог поклониться и тихо уйти.
Холодная осень забытых вещей,
залипанных в юности модных плащей,
где всё намекает в плену серых луж
поверить опять в возвращение душ...
Трамваи, везущие желтую муть...
Мой голос, теряющий всякую суть...
Огромная почта с последним письмом,
там, где мы с тобой этот дождь переждем.

ЧЕРНОМОРСКАЯ ПЕСЕНКА

Ах, матросик в синей матроске,
по прибрежной морской полоске
погуляешь ли, просто присядешь
отдохнуть на сырые доски?

Что до пива в тяжелой кварте,
крупной ставки на бильярде,
коль цветными кругами по пыльной воде
расплывается мир по карте?

Что мы поняли в разговоре
с пассажиркой в ночном Босфоре –
неужели и вправду, согласно судьбе,
в каждом мире есть выход к морю?

Ты рисуешь слова в кроссвордах,
будто знаешь повадки мертвых.
И у них от досады за глупый ответ
не колышется кровь в аортах.

И потом, огибая лужи,
ты проходишь насквозь их души.
От лукавых улыбок, глядящих вослед,
лишь к рассвету краснеют уши.

ВИФЛЕЕМ

Сарайчики, вышки, домишки, дома,
невестка, золовка, свекровка, кума...
Словечки из песен развеются в дым,
как только их скажешь одно за другим.

Шумит, как скворечник, железная печь.
Никто нас не сможет с тобой уберечь
от прядок, повадок, укладок в постель,
от вечных подглядок в замочную щель.

И кажется: сделаешь первый глоток –
глядишь, и столетье исчезло в песок.
И где-то за кромкой глухого ума –
зимовье, безмолвье, вселенская тьма...

И завтра нам нужно идти в Вифлеем.
Попробовать всё разлюбить насовсем.
И замкнутым кругом измеривши твердь,
с прощальным испугом на небо смотреть.

* * *

памяти Марины Георгадзе

Тронуть шторы пыльный кокон,
вспомнить ради глупой шутки,
сколько раз за жизнь вдоль окон
мимо пролетали утки...
День бескрайний начинался,
тут же в памяти оставшись.
И ты вновь навек прощался,
так ни с кем и не встречавшись...
Видел в небе птичьей стаи...
листья... снег... флажки вокзала...
засыпая... исчезая...
Но ничто не исчезало...
Тот же быстрый взгляд ребенка,
убегающий из кадра –
и вот-вот тебе вдогонку
хлопнет дверь кинотеатра.

* * *

Полуночных инвалидов костыли,
как прозрачные степные ковчиги,
сняты жителю столицы в длинном сне.
Исчезая, не касаются земли.

Ждут тумана злые крестики антенн.
По углам гуляет горемычный тлен.
И спокойный разговор в другой стране
вновь не слышен через миллионы стен.

Взгляд последнего июньского дождя
изучает целый век и час спустя
свою тень на самой ломаной волне,
но смыкается, безмолвно уходя...

Хлебным ножиком на стол ложится грусть.
То небольшое, что помнил наизусть,
все, что понял на задумчивой войне,
никогда уже не вспомнить. Ну и пусть.

В счастье нет прямого смысла и корней.
И следы твоих божественных ступней
потеряются в рассветной белизне,
чтобы новый день стал проще и ясней...

В черных крынках испарилось молоко.
В тех же окнах – тот же лик Манон Леско.
Ожидание прекраснее вдвойне –
мы стареем удивительно легко.

ИЗ ВЕСТСАЙДСКОЙ ИСТОРИИ

Засыпающий город, похожий на книжный развал,
каждый раз громоздится в каком-нибудь новом порядке.
Но луна, как всегда, выбирает забытый квартал
и подолгу стоит у дверей баскетбольной площадки.

Это здесь танцевал на стене безрассудный ковбой,
наполняя безмолвие сердца ритмическим плачем.
Тени пьяниц брели до постели усталой толпой,
руководствуясь только неведомым нюхом кошачьим.

Это здесь роковые проклятья по мокрым щекам,
не дождавшись предложения, бывали особенно жестки...
И теперь, вслед отчаянным жестам и вечным бегам,
остаются царапины на отсырелой извештке.

Как ни странно, несбыточны именно те имена,
чьи корявые буквы в начале столетия напишешь.
Их, согласно законам, порой освещает луна –
если и прочитаешь, то никогда не услышишь...

И печальная дева, привычно меняя наряд,
предстает перед модой в надушенном шлафоре длинном
и не хочет просить у разлуки последних наград,
если саван в комоде ужасно пропах нафталином.

И старик, передвинув всю мебель уже на века,
завершает ночные труды невозможной находкой,
вытряхая наружу истлевшие недра чулка
вместе с ниткой атласа и чьей-нибудь легкой походкой.

И случайно оставленный на доминошном столе
бытовой натюрморт из каких-нибудь пыльных стаканов
собирается к центру в своей добродушной хвале,
пожелав примирить меж собою ночных хулиганов.

Так и ты, убирая веселые маски с лица,
признаешься, что, кроме любви и священной вендетты,

твой единственный искренний грех перед ликом Творца –
стать немногим из тех, о котором напишут газеты.

ЗЛЫЕ ДЕТИ

памяти Михаила Векслера

От медной монетки, щепотки света,
упавшей когда-то на дно колодца,
вода, вспоминая про Архимеда,
однажды тебе на ладонь прольется.
Песок обратится ржаной мукою,
устав рассыпаться на мокрых плесах.
Попробуй на это махнуть рукою,
легко затеряться в чужих вопросах.
Не все ли равно, кто построил город,
на благо сложив свои белые кости?
Покуда поэт остается молод,
он может поехать в любые гости.
Есть люди, чьи корни питает воздух,
лаская их до ледяного срока,
но и на суде при усталых звездах
они не заслуживают упрека.
Поскольку для памяти всех столетий,
что кружит, как голубь, на вольной воле,
дороже всего эти злые дети,
не знавшие век безысходной боли...

* * *

Я скажу «до свидания» каждому кораблю,
каждой птице, собирающейся на юг,
каждой девушке, которую полюблю...
И безвольно выпущу из рук.

Мне не хватит ни молодости, ни простоты
признать за собой какую-нибудь вину.
Вот и осень расшвыривает листья,
укрывая и эту страну.

И ветер баюкает – большего не проси,
погружая наше жилище в глухую тьму.
Если свадьба играется где-то на небеси,
ее не слышно в твоём доме.

Я не знаю, кто здесь останется навсегда,
а кому потом предстоит бесконечный путь.
Но на свете уже есть города,
где мне никогда не уснуть.

Я готов, если нужно, назвать их число,
имя каждого города, где любил.
И можно считать, что мне сказочно повезло,
раз прочее позабыл.

КОЛУМБ

Горящей сетью между полюсами,
дрожащей над пространством черных вод,
становится, предвидя твой исход,
то, что когда-то звалось небесами.

Глянь, у причалов дремлет верный флот,
все капитаны грезят чудесами,
и если кто-то в городе уснет –
наверняка, с открытыми глазами.

Теперь до звезд совсем подать рукой,
но ты уверен, как никто другой,
что уже пробил час отбросить лиру,

и нужно предпочесть простой обман,
считать родным беспутство дальних стран.
И стать неверным Городу и Миру.

ДАНТИСТКА

Дантистка под волшебным фонарем,
я вечно благодарен той минуте,
когда в больничном, беленьком уюте
мы встретились тем давним сентябрем.

Я медленно раскрыл дверь в кабинет,
и с ужасом представил на пороге
свой жалкий фрак, не выбритые щеки,
сырую грязь на кончиках штиблет.

Я непривычно вспыхнул от стыда,
решил бежать обратно без оглядки...
Но сделал вид как будто все в порядке...
О сколько это стоило труда!

Вы пригласили путника присесть,
внося в тетрадь какие-то наброски.
И даже не поправили прически:
а я воспринял это бы как лесть!

Потом был шум, похожий на стрекоз.
И вы сияли долгими часами
в моих глазах прекрасными глазами
за пеленою необъятных слез.

Горели золотые купола,
соперничая с магией гипноза.
И страшная отравленная роза
в моих глазах потела и цвела.

Дрожа сентябрьским сорванным листом,
я воплощал мужскую беззащитность.
И хищная стальная ненасытность
кружила над разграбленным гнездом.

И так хотелось что-нибудь спросить,
поведать о судьбе, где все так сложно,

но молвить слово было невозможно,
к тому же все сильнее хотелось пить.

Густым туманом падал потолок,
вы плавно повышали степень риска,
склоняясь так доверчиво, так близко,
что я порой совсем дышать не мог.

Но все прошло, окончена игра!
И, распахнувшись, форточка устало
как нашатырным спиртом после бала,
повеяла морозом со двора.

И понял я, какой ужасный тлен
вся наша жизнь, унылая до визга,
когда сорвалась с вечности кулиска,
вдохнув в меня прохладу перемен.

Я спрятал зуб в фамильный медальон,
и сел в углу с гримаской виноватой,
шепча кровавым ртом, набитым ватой,
что буду жив всегда, пока влюблен.

Хоть в светлый образ, хоть во всех подряд:
в принцеску, в комсомолку, в культуристку,
а может, как всегда, в мою дантистку,
дающую из рук смертельный яд...

В кого-нибудь под ярким фонарем
в казенном и несбыточном уюте,
горящем посреди вселенской жути,
к которой слов, увы, не подберем.

ВИЗИТ ПОСТМОДЕРНИСТА

Александр Верникову

Я полюбил полуночных гостей
и наслаждаюсь дружбою в избытке,
когда они, продрогши до костей,
несут мне в дом любимые напитки.

Будь ты рыбак, таксист иль брадобрей,
будь генерал, седой, как снег Казбека,
в тебе я склонен видеть человека,
едва взглянув сквозь щелочку дверей.

А если ты к тому же знаменит
и обладаешь тонкою душою,
к тебе склоняюсь с просьбою большою:
войди, облагородь мой скучный быт.

И ты вошел. Ты не заставил ждать.
Казалось, что вдали выиграла труба...
И сбросив грузный мех бобровой шубы,
сказал: «Сейчас наступит благодать!»

И ты вошел. И словно взор Петра
объял простор, стремителен и молод.
– Здесь будет сад! Здесь мы построим город!
Я уже слышу звуки топора!

Да, ты вошел. В сопровожденье дам,
качаясь от Лауры к тете Люде...
За ним брели потоком люди... люди...
Как будто крестный ход в универсам...

Моя жена, невинно хмуря лоб,
давала руку всем для поцелуя,
пока ты, громахая и ликуя,
нам представлял изысканных особ.

Их было много, этих славных лиц:
актеры, мудрецы, герои, барды...
То тут, то там порхали бакенбарды,
сорвавшись с лакированных страниц....

– А вот и он! Советую любить!
Поэт-новатор. Виктор Сидоренко.
С таким приятно даже воду пить.
Не в курсе? А еще интеллигентка...

Но я был в курсе (что желаю вам).
И, пожурив супругу за упрямство,
я мещанином ринулся в дворянство.
Оно уже расселось по углам.

Иные в позе бледного цветка,
плывущего по волнам хатха-йоги.
Иные – просто рухнув на пороге,
но даже снизу глядя свысока.

Другие изучали список блюд,
не видя артишоков удивленно...
Но, впрочем, всюду царствовал уют
вполне интеллигентского салона.

Поэт молчал (он в жизни молчалив).
Лишь попросил лосьону под пельмени...
И тут же, ткнувшись девушкам в колени,
ушел мечтою в рай... в шалаш... в Разлив...

И только ты, найдя свой пьедестал,
рассек однообразный ход реестра.
И пачку нот швырнул в лицо оркестра.
И властно произнес «маэстро, бал!»

Все встали с мест, забыв про ложный стыд,
присущий нашей ханжеской отчизне.
Им хорошо, коль знают смысл жизни,
творят любовь и презирают СПИД!

Да, это был и впрямь великий бал!
Шумели фраки, майки, полушубки..
Кто-то лежал, пуская дым под юбки...
Кто-то во тьме восторженно икал...

Мужчин в ту ночь потряс прозрений шквал.
Ты разъяснял им творчества природу...
То вдруг стремглав опять бежал к народу
и ноги женщин жадно целовал...

Вновь возвращался, просто сам не свой,
и все шептал с улыбкою сатира,
что раз в году, любых красоток мира,
ты видишь голых в общей душевой...

И напоследок, за игрою в вист,
ты сообщил моей жене: «я лучше,
чем ваш супруг, ведь он повинен в путче,
поскольку его папа – коммунист...»

Я жажду встречи с умными людьми
поговорить про книги, про науки...
Ведь я порой прелюдию от фуги
уже не различаю, черт возьми...

И я бродил меж ними до зари.
И в рот смотрел, когда они зевали.
В слепой мольбе глаза мои зывали:
Поговори со мной, поговори!

Расторгни разобщенность близких душ,
дай мне опоры в радости и горе.
Но все ушли. Осталась в коридоре
цепочка луж. Цепочка жалких луж.

Поэт проспал почти пятнадцать дней.
Где «Лорелея», там и «летаргия».
И все пятнадцать дней моя Россия
звонила, не спала, ждала вестей...

Как секретарь, засев за телефон,
моя жена давала разъяснения
поклонницам сердитым. В воскресенье
(я помню как сейчас) проснулся он.

Он попрощался, тихий как печаль.
Немного гордо, в меру виновато.
И двинул прямо в сторону Арбата,
а, впрочем, просто вдаль. Куда-то вдаль.

Потом и ты в судьбе моей исчез.
И наш союз пронзили злые ветры.
Разъединили годы, километры...
Господь нас выдал, нас попутал бес...

Но стань ты хоть мормон, хоть царь зверей...
Арнольд Шварцнеггер иль больной калека,
в тебе я буду видеть человека,
едва взглянув сквозь щелочку дверей...

Пусть все прошло, но цель моя светла.
И я все жду, надеюсь, и верю,
что зазвонят опять колокола.
И ты войдешь в распахнутые двери!

1991

УТРО (ТУМАННОЕ)

К утру я напьюсь, до бесстыдного изумленья.
И воскликну в прекрасном наитии самозванства:
– Люди, вы все умрете от скучной жизни!
А лично я погибну от пьянства!

Я подойду к окошку и стану думать,
наблюдая пейзажа правильное убранство:
«Вон кривоногая баба бежит по снегу.
Сейчас я увижу ее и умру от пьянства!

Вон птица летит по противному небу.
Самолет рассекает крылом сырое пространство...
Там едет машина, груженная мылом...
Ах, молодцы! Какое вселенское чванство!

Сейчас я увижу всех вас. И умру от пьянства.
Увижу что-либо еще. И умру от пьянства.
Ничего не увижу. Но тоже умру от пьянства.
Умру от пьянства – предстану пред пьяным Богом.
Поговорим с ним по пьяни про лютеранство.

Но когда в эфире грянет наш гимн державный,
я выключу радио, я презираю хамство...
Друзья, я был постоянен совсем в немногом.
Как же можно погибнуть от постоянства?

Ну что там кроме вина? Одно донжуанство...
Так что можно прилечь. И не умирать от пьянства.

УГЛОВОЙ ДОМ

Я дружил с вентилятором
по летчицкой давней привычке,
раздражал солнечным зайцем соседей напротив,
хотя хорошо понимал, что после обеда
они начнут раздражать меня тем же самым.

Это было похоже на равноправность дуэли.
Но, несмотря ни на что, наш дом был особым.
Из-за ласточек. Только на наших карнизах
они делали свои круглые гнезда.

Напротив были студенческие общаги.
Там тоже каждый год кто-то гнезвился,
швырял наружу магнитофонную ленту,
обливал водой из ведра случайных прохожих.

Да что про то говорить. Вы, наверное, в курсе.
Это был самый клевый город на свете.
Все было рядом. Сокровища в черном подвале.
Загадочный клуб покорителей дельтаплана.
Река в конце улицы. Морг судмедэкспертизы,
где я влюбился в голую мертвую даму.

Да, это был самый клевый город на свете.
Здесь выгодней было казаться аборигеном.
Я с детства знал наизусть все винные точки
и давал консультации приезжающей молодежи.

Мой дед работал инструктором лыжной базы.
Мои друзья умели сбивать кедровые шишки.
Мой брат-близнец утонул в унитазе роддома.
И если учесть, что я не должен был выжить,
мне сам Господь велел заниматься чем-то забавным.

Вот я и мечтал стать великим Робертом Плантом,
непревзойденно визжать перед сонмом поклонниц,

разрывать на себе шелковую рубашу...
Я им не стал. Будем считать, что так лучше.

Но теперь, после всего, что случилось,
я нахожу в сундуке забытые письма.
Они про любовь. Хотя невозможно вспомнить,
кто их написал и за какие заслуги.

Я ощущаю себя смешным стариком Казановой.
Кто-то умер. Остальные стали чужими.
Я почему-то остался по-прежнему счастлив.
Должно быть, поэтому мне сейчас так тошно.

ДАВНИШНЯЯ ИСТОРИЯ

Жанне Павловой

Прости меня, я очень виноват
перед тобой, забытой невпопад
где-то на пыльной кухоньке в Сибири.
Из окон доносился птичий гам.
И, важно прижимаясь к сапогам,
ваш кот гулял по солнечной квартире.

Я приходил к тебе обычно днем
и, жалко звякнув стареньким ремнем,
бросал возле дивана свои брюки...
Мне вряд ли это грезится опять...
Твоя маман являлась ровно в пять...
Мы, к счастью, пережили эти муки.

Мы выходили в город на народ.
Уютный, словно бабкин огород,
наш город был явлением культуры...
В очередях – одни профессора,
и где-то сверху, с самого утра,
труба со скрипкой водят шуры-муры...

Ван-Гог, Прокофьев, Лорка и Рембо,
Джон Леннон... Пастернак, само собой...
Тайга... Египет... горные вершины.
Мы были, кстати, вовсе не плохи.
Я сочинял нелепые стихи,
ты рисовала дикие картины.

Я говорил, что буду знаменит,
что из моих окошек будет вид
на уголок Латинского квартала...
И если я удачно сделал вид,
то так и стало...

Моя семья в мои пятнадцать лет
была близка к идиллии. Портрет
ее, увы, за давностью, утерян.
Мне даже странно перейти на «ты»
в сознании забавной правоты,
которой я (кошмар!) остался верен.

И я как прежде муторно курю.
Бессмысленно на улицу смотрю,
решив хоть это делать незаметно.
Взор оказался слишком затяжным.
Мне почему-то кажется смешным,
что ты, по слухам, очень многодетна.

Я б эти дни давно отнес в чулан,
но вот запомнил наш бредовый план,
что в качестве последнего подарка,
и вопреки причинности любой,
мы вновь однажды встретимся с тобой
усталыми героями Ремарка.

И этот смех – конечно, от тоски.
Но в моду снова входят каблуки
и туфли на резиновой платформе.
И по жилищу важно бродит кот.
И солнце, продолжая свой восход,
купается в зеленом хлороформе.

ЖИЗНЬ С РАЗБЕГУ (1)

Кто там в спешке распахивал простыню,
над гостиничной койкой ее стеля,
Накрахмаленным краем задел струну
и запомнил навеки звук ноты «ля».

Кто там полз по веревочке до небес,
словно сам накликаая себе беду;
Кто не ведал прекрасней иных чудес,
чем была карусель в городском саду.

Платья пахли духами и утюгом,
забирая нас в плен угловатых нег.
Светлый полдень стоял, словно снежный ком,
но рассыпался, лишь завершился век.

Мы могли стать, чем хочешь, в его пыли.
Мы могли быть, кем хочешь, никем не став.
Мы могли выходить в самый центр земли
величавой походкою пьяных пав.

Мы хватались за поручни черных гирь –
удержаться хоть как-нибудь на ветру.
Мы боялись, что новые даль и ширь
обозначатся полностью лишь к утру...

Мы гоняли ерша в жестяном тазу.
Мы поставили на попа яйцо.
А как только Господь вызывал грозу,
закрывали со страха свое лицо.

Если даже разлука – веселый труд.
Если руки привыкли считать фасоль.
Если твой канареечный страшный суд
начинается нотою «ля бемоль»...

Если самый безрадостный, вечный груз –
это комнаты беленький потолок,
под которым беглец и несчастный трус
все равно засыпает, не чуя ног...

ЖИЗНЬ С РАЗБЕГУ (2)

Обрываясь с крыльев бытия,
заметают бестолковый сон
золотистой воблы чешуя,
воровской гитарки перезвон.

По ресницам – детская рука,
то ли лижет щеки добрый пес.
Чарка стала сказочно легка,
но ее до губ я не донес.

Ах, Валерка, в наши ли года
вспоминать про лютовую метель,
если двери в наши города
навсегда оборваны с петель.

Если нам с тобою хорошей,
чем однажды и позавчера.
Если безмятежней и свежей
стала ночь у черного вора.

Если легче быть – голым-гольё.
Если с бабой – только и всего.
Ей пускай француз пошьет белье,
а потом прирежу я его.

Кони по стерне ломали лед
на пути к острогу Акатуй,
будто хриплым вороном полет
завершил воздушный поцелуй.

Обрываясь с крыльев бытия,
заметали бестолковый сон,
ключья смеха в крошечке нитья
с воровской гитаркой в унисон.

Вдоль по пашне шел веселый май,
на бедре качая туеса.
Разбросал на новый каравай
синие солдатские глаза.

ЗЛЫЕ ДЕТИ (2)

Песком пересыпали, размели,
раздули, считая на солнце пыль,
плеснули водой на речной мели,
столкнули с нее самый острый киль,
тянулись на ощупь в ночную мглу,
протяжно, как ветки подводных трав,
не зная, какому еще числу
дано нынче больше счастливых прав,
не зная, какому еще двору
возможно закрыться на старый ключ,
чтоб тычась по стенам, потом к утру
в жилие не бродил осторожный луч...
В пустую постель залетал июль,
и сосны стояли в речном песке,
как бледные тени сырых ходуль,
дрожа и трезвея на сквозняке.
И мы друг на друга, узнав гостей,
смотрели так долго, пока могли,
глазами послушных больных детей,
что смотрят уныло на край земли.

* * *

Это в памяти, и вечно на слуху:
на далекий путь врывается состав,
замирает, рассыпается в труху,
за собой двенадцать жизней навестав...
Так и каждая счастливейшая весть,
в нежных пальцах превратившаяся в ложь,
погибает, понимая, что ты – есть,
и, как прежде, глядя в полночь,
что-то ждешь.

ОПЫТЫ СО СНЕГОМ

Под вечер город сделался скрипучим,
словно под ухом жесткое перо
бессонницы, и можно слышать хруст снега,
семейные прогулки стариков
(которым тоже до сих пор не спится)
или трехногий бег смурных дворняг.

Наверно, лучше оставаться дома.

К тому же холод, всюду грабежи –
по крайней мере, судя по газетам...
А если и вранье, то все равно
у тетки нет билетов на трамвай.

Если идти, то только на проспект.

Сперва в один конец, потом обратно,
гадая, почему губернский воздух
так пахнет разворошенным костром.
И, может, стоит вспомнить о любви.
Под фонарем уютно, как на кухне.
Здесь к тишине приучены с рожденья,
и разве что приезжего бьет страх.
Зимою город – как военный плац,
такой же жадный до любого звука,
что стоит чиркнуть спичкой посильнее –
и где-то передернется затвор.
Поэтому гуляем не спеша.

Желательно – на войлочной подошве.

Оставив в стороне приют вокзалов,
казармы и родильные дома...

* * *

Убедительно, словно граненый стакан,
громыхнувший в пустынной квартире,
между нами ложится пустой океан,
отозвавшись на счет «три-четыре».
По верхушкам столицы гуляет восход.
И опять на задворках проспекта
в каждой женской душе на уверенный сход
собирается темная секта.
То ли где-то в прихожей стучат сапоги.
То ли в доме напротив пекут пироги,
восторгаясь возможным пожаром.
Если что, то закончим кошмаром.
И невнятные скрипки ползут из ушей.
И табачные клювы хватают ужей.
И твой смех, что знаком до озноба,
пролетает отвесно пятьсот этажей
и смолкает в глубинах сугроба.
И мерцает бескрайней страны целина.
И от каждого взгляда друзей имена
входят намертво в черные книги,
неразмненены, равновелики.

МЫ БУДЕМ ИГРАТЬ В БАСКЕТБОЛ

событиям 08.08.08

Мы будем играть в баскетбол,
сойдясь на знакомой поляне,
на заднем, затерянном плане
заводов и стареньких школ.

В краю бельевой тишины
мы тихо пройдем вдоль забора,
без всякой причины и спора
внося объявление войны.

Как будто назначился срок,
отныне не верить друг другу,
и мчаться, хватая с испугу,
хоть что, хоть осенний листок.

И под морозящим дождем
толкаясь как лютые звери,
над прахом какой-то потери,
и над разоренным гнездом –

мы будем играть в баскетбол,
и к небу тянуть свои руки,
под пристальным взглядом округи
и жизни, упрямой как вол.

Под желтым фонарным щитом,
в спортивном обветренном храме,
не зная, что сделалось с нами,
не зная, что будет потом...

Вбегая сквозь кашель и плач
под свод героических арок,
прижав как последний подарок
тяжелый резиновый мяч.

Срываясь во тьму, в произвол,
в костры, в разрушение Трои...
Ведомые той же игрою,
мы будем играть в баскетбол.

Как будто взглянув в черный ствол
и не ожидая ответа,
с бесстрашием детского бреда,
мы будем играть в баскетбол.

МОНТЕ ДЬЯБОЛО

Порядок желтых пятен и теней
в большом сельскохозяйственном пейзаже,
разбросанных по гладкошерстным склонам
овсяных гор.

Закат похож, в сравнении с долиной,
на бесконечно дрящущую вспышку.

Когда так много света – это страшно...
(Латунь всегда эффектнее, чем медь.)
Я слышал, здесь часы идут быстрее.
Чем выше в горы – тем быстрее. Бледнее тени
от хрупких человеческих существ.
То ли открыть глаза, то ли зажмурить...
Трава щекочет голени коров,
словно босые ноги прокаженных,
вдоль серпантина – земляные белки
играют с мертвой ящерицей.

Я

нарочно приезжал сюда, чтоб возвратиться
сперва – на десять дней, потом – на год.
Сначала в гости к прошлому, потом –
к койоту на вертлявое шоссе...
Он так бы и стоял среди дороги,
не выражая голода и страха,
ни бликов сна, огня и любопытства.
Я думаю, он там так и стоит.
Покой всегда эффектнее, чем смерть.
Не потому ли Дьявольскую гору
назвали так за странную любовь
к бескрайним взглядам и
нагромождениям солнца?

САВАННА

Водянистой медузой станет морской пират,
смытый за борт фрегата коварной морской волной,
чтобы через столетье припомнив заветный клад,
распластаться по мокрому берегу сединой.

Благородным семейством взойдет сухопутный клан
каторжан, что рассеялись здесь как сухой горох.
У природы имелся в запасе беспутный план
насмеяться над правильной связью былых эпох.

И солдаты враждующих армий, сжимая сталь,
продвигаясь друг к другу под грохот стальных копыт,
вдруг привстанут из седел, и глянут куда-то вдаль,
чтобы тотчас застыть на опорах гранитных плит.

Остальное явилось на днях, воплощая рай.
И восьмой день творенья был тоже совсем не плох,
если прямо под окнами утром гремит трамвай,
а на ветках качается страшный испанский мох.

Не беда, что тебя до сих пор не зовет восход,
вместо хижин туземцев белеет цепочка клумб.
Но истории, верно, придется дать задний ход,
если к этой земле в сотый раз приплывет Колумб.

А пока все, что есть, это – джинсы пяти заплата,
горизонт, убегающий вместе с большой волной,
городок, где нас вместе с тобой уводя назад,
вкусно пахнет Одессой в холодной, пустой пивной.

НА НОВОМ НОЧЛЕГЕ (ХОБОКЕН, 93)

Под утро ты просто привыкнешь к закрытым окошкам,
к прогулкам чужих каблуков, непогашенным плошкам,
к тревоге, что кружит по кругу разбуженным шаром,
пугая соседей сверху невозможным пожаром.

Укрывшись от правильной ночи прокуренной тряпкой,
подаренной вам неспроста то ли теткой, то ль бабкой,
то ль девкой, то ль вечною девой – к тому же,
даря ей возможность хоть как-то предчувствовать мужа.

Ты просто привыкнешь к одежде, что кем-то носилась,
пока то ль с тобою, то ль с ними беда не случилась,
дразня целый мир неземной простотой буги-вуги,
готовясь хоть тотчас уйти в рэкетирьи и слуги.

Готовясь привыкнуть ко всем поездам-самолетам,
к отчаянью, желтому чаю – чего там...
Когда привыкают, как после второго укола
брать влажный окурок в помаде с вокзального пола.

Ты скоро привыкнешь к рабочему звону бутылок,
похожему в пятом часу на рыданье носилок,
когда в твой загадочный двор, как прекрасная проза,
приходят печальные рыцари мусоровоза.

Они приезжают в своем арестантском вагоне,
за вашей погибшей душой, мой маленький Джонни,
мой славный хозяин, с таким непонятным акцентом,
с которым не свыкнуться и иностранным студентам.

Мой старенький Джонни когда-то катался на пони.
Наверное, был пару раз в музыкальном салоне.
И медленно плакал в тарелку большими слезами
о том, что красивая музыка делает с нами.

* * *

Памяти Сергея Черноярова

В тумане возрастает скорость звука,
поскольку больше не видать ни зги,
нам начинают слышаться шаги
приехавшего на свиданье друга.
Как он, спеша, проходит виадук
и около ларька шуршит деньгами.
И время разбегается кругами,
предвидя сердцем каждый новый звук.
Капель из крана, бабушкин сундук,
скрипящий чешуей сухого лука...
И только слезы, музыка и вьюга
способны заглушить такой испуг.
В тумане, как во сне, не счесть разлук.
И тем дороже слушать до рассвета
какой-то звонкий смех с другого света,
гул поездов, катящихся на Юг.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

for Christine Kunhardt

К своей студенческой подруге в синей блузке,
такой же синей, словно юбка у подруги,
Кристина едет по осеннему Нью-Йорку:
сначала в горку, а потом – под горку,
сначала влево, а потом направо,
на мостик, а оттуда в подземелье,
не то чтоб быстро или величаво,
а если честно – просто еле-еле,
что и пора бы чокнуться от скуки...
Она в мольбе заламывает руки...
Но всё же едет. Терпит перегрузки...
И что-то шепчет. (Что-то не по-русски.)

Она сегодня едет на свиданье,
которого ждала все эти годы,
чтобы часами слушать назиданья
великой жрицы музыки и моды,
к своей смешной соседке по общаге,
живущей нынче в центре мирозданья,
где так пестры народные гулянья,
но на домах одни и те же флаги,
где виден свет другого измерения
былых веков и строгого уклада,
где, может быть, уже со дня творенья
так высока обычная квартплата...

Туда и направляется Кристина.
И путь ее необычайно тесен.
О где ты, ковылевая равнина
казачьих табунов и диких песен!
А здесь, куда ни глянь, ползет сосед:
«Фольксваген», «Бьюик» или «Шевролет»...
(Вон вовсе марсианская бандура...)
Это и есть высокая культура –
невозмутимый сумеречный бред...

Горит зарей промышленная рань,
по стенам бродит матерная брань,
сжимается проспектов кубатура...

Кристина плавно едет через мост.
Уже проплыл за окнами погост
с расставленными белыми крестами...
(Хотя и с башен не достать до звезд,
сколь ни шепчи горячими устами...)
Кристина понимает, что почем:
что юбка – это лишь мануфактура,
что блузка – это лишь мануфактура,
пусть и шуршит под тоненьким плечом...
Она сказала: «Если будь пониже,
все небоскребы были бы – в Париже...»
(Она к тому же тонкая натура.)

И, между прочим, хороша собой...
А сотню лет назад – почти славянка,
не видевшая радостного танка,
что шел по Праге следом за толпой...
И я не видел. Это наш удел –
не видеть ничего, раз не родился;
пока не эмигрировал, не спился,
не стал самим собой, как и хотел.
Чтоб, глядя в пол гостиницы «Саввой»,
твердить – а не пора ль родить ребенка?
Опять какой-то знак. Бензоколонка.
Хозяин шутит с пьяною братвой...

Да, этот мир бывает так похож
на наш.

И если я внезапно скисну,
боюсь, что, возвратясь в свою отчизну,
тогда лишь и пойму, чем он хорош...
Да что там я? Забудем про меня.
Не будем громко говорить по-русски.
Кристина едет по Нью-Йорку в синей блузке.
Что? Где? Когда? Так, в середине дня.

Да, в середине дня. До часа пик.
В стране правостороннего движенья.
(Простите, если снова на язык
приходят православные сравненья.)

Кристина едет. С нею едем мы...
Вот уже виден признак кутерьмы,
людское дно, плеснувшее наружу...
И если я обрел вторую душу,
то где-то здесь, в предчувствии сумы...
Оно у всех, мне кажется, в крови:
у саксов, у испанских разночинцев,
у негров в ожидании гостинцев,
у русских в ожидании любви...
Последние живут в другой округе,
то ль в местной Жмеринке,
не то в Калуге...

А что? Приехал, так давай, живи...
(Мы заморожены движеньем центрифуги.)

Ее подруга ненавидит этот город,
ее подруга гневно жмурит губки,
хотя живет в одном дворе с актрисой,
рок-музыкантом и великим Дантом.
Ее подруга, кроме синей юбки,
не обладает никаким талантом...
(Что, впрочем, рядом с вечностью – ничто.)
К тому же, музыкант уже немолод,
поэт гостит с просроченною визой...
И ты, шепча про это и про то,
в лоснящемся шиншилловом манто
воюешь каждый день с ленивой крысой.

Кристина едет, будто бы к сестре,
что ей знакома вплоть до синей блузки...
Не помня, как сверкают на заре
мороз и солнце, соль на топоре,
кремнистый брег Подкаменной Тунгуски...

И лишь потом гремят замки кутузки
или звучат дуэли на горе...

Что? Где? Когда? Должно быть, в декабре.
Куда точнее, – просто в декабре.
Быть может, здесь, – но только в декабре.
Что очень далеко в календаре...

Кристина приближается к Деревне.
Привет тебе, последняя деревня.
Кристина жадно смотрит на деревья,
хотя их мало, но они – деревья.
Они стоят в горшках для распродажи:
березы, вязы, фикусы и пальмы...
И осень до сих пор глядит сквозь пальцы
на экспонаты в этом вернисаже:
на стариков у тихих барахолках,
затянутых в ремни бродячих телок...
И, если б не Кристина, я бы рад
влюбиться в них опять, во всех подряд...

Свобода по Бродвею носит мусор...
О, где ты, молодой фотопродюсер!
Приди, взгляни в глаза моей Кристине,
не может быть, что нет тебя в помине!
Она же понимает, что почем!
Что где-то за обширными морями
она – совсем другая рядом с нами...
Совсем не та, но вовсе ни при чем...
Она сегодня едет в гости к маме!
И папе...

Что ей делать у подружки?
И друга, что лысеет от натуги
в связи с монументальными делами...

А что ей, кстати, делать у домашних??
И вот мотив осеннего разлада
подальше от превратностей вчерашних
несет ее заведомо куда-то...

Пречистая манхэттенская дева,
Кристина просто едет по дорогам.
Ведь если плакать – плакать о немногом
гораздо лучше, чем страдать о многом...
Когда ты уже хлопнул дверкой кэба,
катиться в пропасть, в грязь, пускай на небо,
куда приятней, если добровольно...
Опять велосипед. Гудок Линкольна.
Тупой шлагбаум. Снова переправа.
Родная речь давнишнего напева,
как будто жизнь, слегка качнувшись вправо,
качнется влево.

СОН В САН-ХОЗЕ, ПОЧТИ – ВО ФРИСКО

– Матушка, кто это?

– Это шумит береза.

К нам возвратились деревья сожженных гаремов,
они выходят на берег со дна океана,
несут тело султана.

– Никогда не слушай шепота спящих,
не проси пера у стрелы, просвистевшей мимо.
Сестра ветряной мельницы и соломы,
я тебе говорю.

– Матушка, что это?

– Это сжигают ведьму.

К нам возвратились кремень и стальное железо,
если бросить их в воду – они утонут,
усопших тронут.

Но знай, что ведьма всегда поднимется в небо,
даже если укутает ноги рыбацьею сетью.
Хозяйка трех пуговиц и папиросы,
я так всегда говорю.

– Матушка, где мы?

– Должно быть, уже в Китае.

И китайцы к нам скоро вернуться в бумажных лодках,
они в соседних мирах стрекозу ловили,
вина не пили.

Навсегда измени магнитом соленый полюс,
собери из воды все молекулы дыма.
Повенчай живую сову с электрической лампой.
Так ты всегда и хотел.

ИСТОРИЯ ВРЕМЕНИ № 8

Как пахари резали лезвием вызревший кварц.
Как глину мешали с яичным желтком и корицей.
Как воду пускали сквозь тьму пищеводов акул,
заштопанных черною дратвой на лающих стыках.

Как гордо росли арматуры кристальной беды
рассыпанных в детские руки семян кипариса.
Как битые стекла планет раздавались народам,
одно за другим исчезая в чужой медальон.

Сжигали свой флот у магнита потеющих бухт,
чтоб только поверить – назад никогда не вернемся.
Женились на траурной крови ирландских царевен
и плыли обратно крестами на крошечные льдин.

Слепыми руками копались в трухе чердаков
в надежде найти разговорчивый воздух влюбленных.
Свинцовые глобусы падали вниз перспективы
Потемкинской лестницы из молодого кино.

Ценили погоду значительно выше столиц.
Платили в буфетах билетами на аэропланы.
И шли хоть куда-нибудь, но налегке и пешком.
И если они любят смерть, я люблю только нефть.

ПИСЬМО ДРУГУ

Ивану Жданову

Вот всё тебе возьми да расскажи,
когда ты ждёшь, что я сопьюсь и ссучусь...
Нет, не женился. Мне по нраву участь
любовника почтенной госпожи...

Изысканной... матёрой... ледяной...
супружницы банкира на Уолл-стрите,
которую ничем не удивите.
И разве что в постели – мной...

И по утрам, на станции метро,
в конкретный час, в дождливый день недели
я жду её. Кровать в глухом мотеле
в подушках точит жесткое перо...
Хочу согреться... Чтоб *меня* согрели...
Стрела мне в сердце, будто бес в ребро.

Всё это ненадолго. Ампула
поэта, наглеца, степного волка
приличной бабе нравится недолго,
коль юбкой бабы правит голова.
Ей б отпрыска семейства Валуа,
престиж – почти синоним чувству долга...

Ну, в общем, я устроился. Как вы?
Волхвы вчера по радио сказали,
что ты читал стихи в Колонном зале,
не раз сорвав овации с братвы.
Вдвоём б мы лучше спели на вокзале.
Нас бы на первом звуке повязали.
Я верю, что менты всегда правы!

Когда нас соблазняет капитал,
нам трудно быть за каждого в ответе.

Тут кто-то лег, на цыпочки привстал.
Учусь вверять регламенту и смете
счастливым труд и модный женский зад.
Тебя любовь и бедность ловят в сети?
Если поймают – сам и виноват.

Мой ход – всего лишь дева в неглиже.
А ты серьезней, ты не из таковских,
чтоб прозябать культурным атташе
Чубайсов, Боровых и Березовских.
А впрочем, извини, за резкий тон.
Поэту суждено служить альфонсом.
Вопрос лишь в том, кто сможет с большим форсом.
И не сегодня даже, а потом...

И мы сейчас махнем на океан
в двухместном, ярко-красном ландолете.
Тебя любовь и бедность ловят в сети?
Вот барышня, вот рядом хулиган.
Вот разница и стиль далеких стран.

И нет истории печальнее на свете...

1998, Нью-Йорк

БОЛЬШОЙ ВАЛЬС (2)

Летящей тенью первоптицы,
грозою павшей на ресницы,
счастливым насморком корицы,
улыбкой из папье-маше
ночное бегство из столицы
прозрачно, словно неглиже...

Ты передумала уже?
Насколько ветрены девицы...
Ты видишь, как мелькают спицы
летя у века по меже...

И окна в пятом этаже
дрожат, как чистые страницы.
Нет ни Венеции, ни Ниццы,
и не родился Беранже...

И вновь блуждают по душе
осиротевшие частицы.

ХОД ВЫВЕТРИВАНИЯ

Гром целлофановых птиц над карнизами крыш
на столетнем ветру высвобождает ужас
из похмельного сердца на ребра каркасных домов,
заставляя их хрипло светиться.
Длинный градусник холода бродит
в расколотой ступке ночного Нью-Джерси
словно мертвый журавль, словно
голая мачта без рук.

Во всем мире начался ремонт.
И навеки закончился.
Никогда не заканчивай полной картины беды,
даже если – чужая.
(Нормальней молчать на такой глубине
реставрации наших молчаний.)

Этот грубый ремонт постаревших
за сутки деревьев, почерневшей реки в чешуе
электрических волн,
мой последний ремонт перед
сном, перед смехом, перед дальней поездкою в город
Чертополох,
до того неуклюж, что уместнее вспомнить –
география – это тоже скрипящий ремонт.
Биография – тоже.

Давний холод глядит по ночам в твой бумажный уют
беспокойным, как старость, слезящимся глазом Кинг-Конга,
оставляя железные пятна на гранях кристаллов,
незастывший беспомощный воск.

Нам сомнительно даже соседство больших тополей
перед желтым от дыма окном –
они входят тенями,
они трогают тихими ветками здесь каждый угол
и, возможно, совсем недовольны этим углом.
Бестелесность обычно пугает.

Как печальны ночные огни над погостами рыб.
Как обманчивы автомобильные пляжи
в обвисяющей лагерной проволоке.
Как характерны мечты...
Я не чувствую смерти.
То есть надежда и страх,
как и любая болезнь,
вышли вон вместе с ветром.
Я не смею сказать,
что во тьме существует рубеж.
Может быть, настроенье? Впечатлительность?
Слепота, что не отличает счастье от небытия?

Беззастенчивый насморк воды на бетонных кострах
заходящего солнца (любой остывающей плазмы)
позволяет почувствовать собственную дощатость,
разбегание пыли в просветах, разъемы углов...

Привыкание к шаткости, как к основному движенью,
вряд ли может считаться наукою,
но на ветру
в этом видится путь к чистоте.
Словно твой жалкий контур
вырезается в плотном картоне великих домов,
и ты просто становишься черной дырой для ветра.

(Я хотел бы создать такой памятник на берегу,
просто длинную ширму Манхэттена,
чтоб по длине
вырезáть частокол силуэтов. Хотя говорят,
что чем меньше, тем всячески лучше.

К тому же, сообщество мыслящих тростников
для меня отдает азиатчиной.)

Здесь в темноте,
оставаясь кусками сырого фабричного драпа,
как-то легче понять неживой целлофановый хруст...
Мы гремим еще хуже. Мы – трещины в рыбьих глазах.
Я полжизни снимаю с себя синтетический свитер,
где-то в бабкином темном углу рассыпая иголки
на сушеные шубы еще не пришедших гостей.
Я скриплю половицами,
пока, наконец, не усну.

В этом смысле сомнамбулы многим противоречивей.
Пронося свои сны как чужих нерожденных младенцев,
они смеют, однако, сделать свой собственный шаг.
Уронить на пол вазу, раздвинуть окно к тополям...
И глаза их растут, словно дети на пьяных ладонях,
ибо в них больше нету (как минимум в эти минуты)
одномерного времени. А твердая комната есть.

Дорогая вещественность времени слишком заметна,
словно легкий налет мертвой извести в ребрах субботы...
И все нити, сцепившие время с разлетом галактик,
наконец стали вовсе обыденной штукой.

Когда на ветру.
Подвергаясь процессу выветривания.
Из кожи. Из кости. Из любой эволюции смерти
или жизни. Из любых биографий и каменных городов.

Исполинская ржавчина этих сквозных деревень,
отдающая горечью жженого сахара плоти,
содержательна, как поперечные кольца зимы
на размокших сосновых распилах.

В ее вышине
ветер кормится дряхлым зеленым железом,
что порою важнее молекул
бегущей воды.

Невозможность раскаянья вбита в нас круглой луной,
словно странный разумный покой после долгого крика.
Непонятной борьбой целлофановых птиц с ветряками
на верхушках горячего газа.
Вот-вот и наступит апрель.

Я люблю тебя.

Я вспомнил такую любовь, от которой
плывут в табакерке сквозь ртутную осень,
замерзают в больничной скорлупке, затерянной в море
магеллановой нефти, качающей мрамор колес.
Человек, пересекший рассвет в механизме часов,
заслужил даже больше, чем эта мышинная память
с отсырелым подвалом в смешении духов «Же Озе»
и стремительным запахом жареной мойвы.

Наверно,

я люблю тебя лишь по причине неясности слов,
ожидая любых повторений, любых назиданий,
возвращающих белую горсть аспириновых ягод
на столетнем ветру.

Я не знаю, с кем я говорю, но я знаю – куда,
словно слушаю шум излучения ранней Вселенной
наподобье шпиона,
с приемником на коленях,
что транслирует только лишь прошлое – как ни верти.

Белый шум

неземной навсегда удивленной метели,
что растет в нарастаньи спиралей сырою грибницей,
капиллярным пространством души, на которой разлука
отпечатана с даты рожденья родимым пятном.
Потому мы и любим хранить прошлогодние листья
с непогибшим крылатым скелетом иных красноречий,
чтоб растерянно доказать, что хоть что-то да было.
Самому себе доказать.
Ведь в природе их быть не должно.

Человек, зажимающий в пальцах горячий песок,
вспоминает о порохе или, возможно, о снеге,
что, растаяв, легко испаряется на глазах,
превращаясь мгновенно в растянутый северный спектр.
Человек, пьющий воду, сверяет движенье судов.
Это форма молчания рек, получивших похмелье
за обычную честность присутствия. Нужно молчать
и глотать эти волны, глядеть в отраженье кувшина,
чтобы самый никчемный и самый замшелый челнок
дотянул до вокзальчика с вывеской

Чертополох.

Я люблю тебя, словно начался ремонт
в несожженных грозою дощатых университетах,
где котенок катал мандарин по глухим коридорам
и вахтерши вязали оранжевые свитера,
где обычный паук носил имя Святого Вольвокса
и когда опускался на глобус своей пятернею,
мы не смели подумать, что осень уже наступила,
а считали, что просто случилась короткая ночь.
Что из царства олифы и взглядов, сточивших паркет,
можно выйти на воздух с красивой пудовой книгой
старика Геродота.

– А он был слепым? Или кто-то другой?

Вешний паводок часто приносит погибших людей
с непонятно изогнутыми глиняными руками,
зажимающих в них гимнастический серый мелок,
состоящий из мелких ракушек времен Мезозоя.
Хочется подобрать их стальное пенсне
и очистить от тины, и, может быть, даже примерить,
ибо души учителей, убитых грозою,
бесконечно чисты.

Отражение молнии у них на груди
позволяет судить о природе и силе разряда.
Так анатом вручает свой труп на расправу студентам.
Так биограф лишен биографии, словно свисток.

Дорогая, ты помнишь, что когда-то сказал Аристотель?
Что Земля по размеру экватора больше в два раза,
он не мог ошибиться, он видел другую планету,
ту, одну из семи. Говорят, мы вернемся туда.

Эта мысль убаюкает всех даже в холоде кружек
бесконечно пустого застолья, где камень тоски
возвышается с женственной грубостью старого Сфинкса
над дугой горизонта;
где глаз нависает как вянувший красный цветок;
где по скатерти крошка за крошкой кружится натрий,
словно маленький бес от окурка по мостовой.

И какой-то стеклянный баркас с виноватой цифрой,
замурованный, словно ресница ребенка в янтаре,
рассыпается вдребезги, лишь натолкнувшись на взгляд
человека на пристани.
(Наши взгляды намного опаснее вещей псалмов.
В них содержится трезвость вмешательства
и кровосмешенья.)

Резкий квант, вызывающий пеструю опухоль рака
на расслабленных легких неизъяснимейших слов.)

Эта мысль убаюкает всех, кто согласен идти
сквозь овальный проем, откликаясь на крики шахтеров,
прорубивших прямые пути из глубин Джерси-Сити
к кругосветной туземной реке.
К той реке, где махали крылами голландские яхты,
там, где плавают сгорбленной уткой куски
«Нью-Йорк Таймса»,
там, где чахнет заброшенной степью ручей из волокон
не такой уж далекой Истории Созвездья Весов...

Вот и все, что осталось.

Лишь грохот уключин колодца,
лишь сырые отвесы пунктирных веревочных лестниц,
водопой Аю-Дага, изрытый ходами термитов,
горлодер пьяных чаек над рыбным базаром Всего.

Во всем мире начался ремонт. И в его мокром скрипе
стало легче идти, отряхая с себя прежний ужас
сыромятного спирта и горького козьего дыма,
чечевичной похлебки,
променной на старшинство.

Это сказочно просто. Когда закипающий чайник
обещает нам бурю, то, видимо, нужно ждать бурю.
На ветру забываешь про все – кем ты был, или будешь,
или будешь ли вовсе, а главное то – что ты есть.

Жизнь излишне надменна к следам пролетанья частиц,
оставляя в наследство свинцовые водопроводы
милолетних империй, чья сущность была бы как вздох,
если б кто-то откликнулся эхом повторного вздоха...

И на тоненьком пирсе, встречающем все корабли,
я уткнусь тебе в плащ, как во тьму театральной гримерки,
увидав, как бездомный старик с африканской улыбкой
удалился во тьму с черной кошкой на черных руках.
Эта мысль убаюкает всех...

СТРОФЫ
ИЗ РОМАНТИЧЕСКОЙ ХРЕСТОМАТИИ:
ЭМЕРСОН

for Ed Foster

1.
Поэзия зарождается в эпоху фотоаппарата.
Красотка сходит с мольберта, ежится виновато.
Поездкой на материк завершается превращенье
простого владельца усадьбы в аристократа.
2.
В трактирах навеки запрещена пальба.
Плантатор вручает скрипку в руки раба.
В общем, всё как и надо: когда под ногами почва,
начинают дышать искусства, а с ними – судьба.
3.
Из-за дыма не видно приезжих у края кормы...
Побережье пылит от общественной кутерьмы...
Возникают невероятные способы веры в Бога...
Электричество бередит молодые умы...
4.
Художники создают за пейзажем пейзаж,
запомнить и подчеркнуть – этот мир уже наш.
Все логично, благополучно и чинно.
Совершенно бессмысленен эпатаж...
5.
Герои британских, французских, туземных войн
неуклонно несут в своем сердце славный конвой
у недавно рожденных святынь внезапной державы,
омываемой горькою солью восточных волн...

6.
И кажется, что-то грядет – то ли снова война,
то ли от взгляда волхва истощится казна,
то ли, наоборот, от такого же взгляда
возрастет производство золота и чугуна...
7.
Поэзия зарождается после смерти отца.
Только окунь в заливе, как прежде, клюет на живца.
Можно было б отчаяться, но твоим начинаньям,
как начинаньям правительства, нету конца.
8.
Человек лишь родился, а скульптор творит его бюст.
Человек умирает – и возле могилы сажают куст.
И различных предметов для памяти и вдохновенья
обычно хватает, чтоб мир не стал тебе пуст.
9.
По крайней мере – пока. Если учишь латынь,
немецкий; на клавишине «дилинь-дилинь»;
потом – богословие, позволив листать страницы
ветру в окне. И мать кричит «не простынь».
10.
Решаешь стать новеллистом, читая роман,
воздухоплавателем – взглядевшись в ночной туман.
А лучше всего обзавестись телескопом –
к сожаленью, пока не очень звенит карман.
11.
Можно стать кем захочешь. Одновременно – всем.
Универсальным героем, вернувшимся в свой Эдем.
Когда у нации нет прошлого за спиною,
она избегает крови чужих теорем.

12.
Дилетантство изобретенного вновь колеса
как минимум обаятельно, а чудеса,
прозванные талантом, есть просто смелость.
«Встают невежды, чтоб восхитить небеса».
13.
Какая-то странная легкость, простая, как пыль.
Догадка, что воздух свободы – не водевиль.
Кто-нибудь скажет, что ты – проходимец и жулик.
Известно, что эти сужденья – сплошной утиль...
14.
Стучать во все двери, пробраться во все места,
куда не пускают, как в книги во тьме листа.
Казалось бы, чем не замашка провинциала?
Но в общем стремленьи затея вполне чиста.
15.
В стремлении целых народов, целых эпох
не пугаться, не останавливаться ни на вздох,
чувствуя ограниченность жизни и тела, –
в этом и есть вся обида, досадный подвох...
16.
Листья сплошь облетели, а груши висят.
На плетнях старой бронзой побрякивает виноград.
Если кто-нибудь скажет, то ни за что не поверю,
что под этой землею располагается ад...
17.
Ширма в мамашинной комнате. Лампы пятно.
Пожалуй, скрываться от мужа в чем-то смешно.
Если умер лет десять назад. В том-то и дело,
что у нее для жизни и смерти все решено.
18.
Всё, как у всех, здесь повязано на корню.
Дорогая, послушайте, я вас не виню.

Отец умер лет десять назад. В том-то и дело,
что мы меняем религии сто раз на дню.

19.
Хороним сестер и братьев в одеждах из роз.
За ночь выкуриваем весь запас папирос.
Изобретена швейная машина с ножной передачей,
но всюду гуляют убийцы и туберкулез...

20.
«Неважно, что человек говорит, важно, как говорит.
К тому же, если не тлеет, а явно горит,
вещая одну за другой противоположные вещи,
значит – искретен, а не просто делает вид».

21.
Какая красивая истина. Можно начать
век по новой, взять и поставить печать
на каком-нибудь новом вердикте летосчисления...
То есть, по-нашему, вновь научиться молчать.

22.
Или что-нибудь делать. Садовником, рыбаком,
даже конюхом в цирке, ходить босиком
по некошеным травам, но быть всего лучше
сочинителем громких трактатов, почти дураком.

23.
Выразителем недоумения, что внутри
каждой взрослой души, что не смеет сказать «бери»,
а велит отдавать, если что-то имеешь.
Каждый день стучать головой по железной двери.

24.
И давно ль повторяли другие, крестя себе грудь:
«Если Он всемогущ и – всего Вселенского суть,
то Господь и распял Мессию, повесил Иуду,
что Он может забрать кого-то, кого-то вернуть».

25.
Вряд ли в этом ошибка и ересь. Одна похвала.
Если вас оскорбили, встаньте из-за стола
и швырните перчатку. Если умер ребенок,
шепните однажды жене – ты б опять родила?
26.
Поэзия зарождается в ожидании красот
нового века, с началом на «девятьсот»,
предчувствуя перьями в шляпке гудящий пропеллер
и странные сдвиги зияющих в небе высот.
27.
Становится модным прилюдно сходить с ума,
покупать на гонорары от книг большие дома...
Нет, еще слишком рано, слишком невинно...
Зародилась идея спонтанного письма,
28.
но она соседствует с энциклопедией Вселенной.
Не столько наивный, но убежденно тленный
ее создатель читает за классом класс
в каком-нибудь колледже. Успех его – переменный.
29.
«Природа важнее, чем наш человеческий торг,
человек есть природный продукт. Все, что он исторг,
будь то поэзия, музыка, – тоже продукты природы...»
К чтению странно мешается Сведенборг.
30.
Пахнет эсхатологией, но ни Даниил,
ни Спаситель, сколько б он к нам ни сходил,
здесь уже ни при чем. Появляется неопределенность
в будущем мира. Римский Папа уже б не простил.
31.
Относительность побеждает, но только как дух,
настроение многих умов, обошедших старух

в понимании сущего, но если серьезно –
как просто возможность ироний витийствовать вслух...

32.
На зеленых лужайках мультипликационных кино
гуляют атласные птицы. В бочках вино
воплощает изысканный сорт местного винограда.
Кажется, что все это было давно.
33.
Ну, допустим, не раньше идеи поликультур
или частного существования а-ля самодур...
Просто тоже было давно, как и все остальное,
слизанное сотни раз с чужих партитур.
34.
Говорят, что от поэзии зарождается все.
Приятно подумать. Боже мой, как хороше.
Особенно когда речь идет об общих могилах
и о песенках местных газет, что мы всех вас спасе...
35.
В прихожей валяются тапочки разных сортов.
В детской – стулья для кукол, медведей, котов,
и для детей. Качается лошадь-качалка...
Прокатиться на настоящей ты еще не готов.
36.
А пора бы, не улыбнувшись, вскочить в седло
и участвовать в скачках, – должно быть, тебе б повезло
отхватить хороший обруб Западных территорий.
Однако любое рвачество – запаadlo.
37.
Одержимый и скептик, патриций и либерал,
Платон, какой-нибудь армии пьяный капрал,
ты сумел остаться никем, за что б ни хватался,
во что бы ни верил, чего бы ни выбирал.

38.

Семьянин и распутник, мистик и прагматист,
примеряющий власяницу, затем – батист,
перед всеми, да и перед кем угодно
ты навсегда остаёшься предельно чист.

39.

Потому что всем нравится смелость
без прошлого за спиной,
когда жизнь становится морем, волна за волной
пронося за одну судьбу биографию мира,
что в смущении замирает перед этой страной.

40.

И кто-то уходит жить в дебри, словно Тарзан.
В этом видится путь староверов и партизан
и что-то о соревновании на выживание.
Теперь платят деньги, чтоб получить этот сан.

41.

Бредят Грецией, Римом, потом с потолка
забрывают куда-нибудь в Средние века,
порицают богатство и запрещают аборт,
тешатся равенством, но на прочих глядят свысока.

42.

Но не без интереса. Странное чувство тепла
или незамысловатость во взоре орла
очень часто смущает местных красавиц,
и они выходят из ванной в чем мать родила.

43.

На то и провинция. Туристом быть веселей
где угодно – в белом костюме, в шуме аллей.
Провинция становится ценой аэробилета:
гробница Наполеона, мощи Христа, а вот – Мавзолей.

44.

Поэзия и зарождается, как интерес.
Из любопытства – просто попутал бес.
Потом кто-нибудь вспоминает об изначальном.
И все, как один, матерят прогресс...

45.

Говорят – то ли дело было читать при свече.
Ходить под венец с девственницей в парче.
«Насколько всё истоптали, всё изолгали...»
И у каждого черный ворон сидит на плече.

46.

Все считают нормальным не поднимать лица.
Хоть окунь в залив, как прежде, клюет на живца.
А если и вспомнят о чем-то великом,
то брезгливо – ну, про фанатика-подлеца...

47.

Потом глядят, сдвинув бровь, на военный парад.
«Этот вот – алкоголик, тот – казнокрад.
У нас нет сомненья, что под этой землею
именно и расположен кромешный ад».

48.

Будто не победили. Будто фабричный шум
и грохот землетрясения важней, чем свободный ум.
Словно для прикосновения к Всевышней деснице
нужно вернуться во храм и звериный чум.

49.

Энтропия, хотя б на одной из Твоих планет,
практически не возрастает. Дают балет –
и души становятся в очередь за билетом.
В открытом космосе такого, кажется, нет.

50.

Это юмор. Но если в пространстве царит хаос,
произвольность Создателя часто ставит вопрос:

что же соперничает с тепловой смертью?
За ночь выкуривается весь запас папирос...

51.
Семинары проходят, словно ряды полков.
Скорлупа водорода сыплет из облаков.
Не натуралист и не техник, а просто профессор,
ты говоришь сам себе: «Я совсем бестолков».

52.
Потом – пожары, войны, поездка в Каир.
Душа просветлела, как платье, что стер до дыр...
Нелепая смерть от воспаления легких...
Странная радость – почувствовать вечный мир –

53.
практически неощутима, невелика,
хотя уже успел что-то ляпнуть, войти в века.
Эволюция завершилась. Что будет дальше –
никому непонятно. По крайней мере – пока.

54.
В реальности больше нет природной борьбы.
«Политика – чтоб упорядочить звон толпы».
«Наука – чтобы полегче всем прокормиться».
«Путь духа – чтобы назло не сходить с прежней тропы».

55.
С началом истории эволюции больше нет.
Есть волнение тщеславий, смешная горечь побед...
Но чем больше компьютеров, тем и сильнее чувство,
что всё, что имеем, – это не только скелет.

56.
Старомодные фразы – порядок, личность, прогресс,
перейдя немного вперед, на один диез,
почему-то зовут идти от пункта, где мы родились,
но куда-нибудь вглубь, а не обратно – в лес.

57.
И мерцающий взгляд дилетанта былых эпох,
что цветет на каждом предмете, как чертополох,
говорит – я коснулся всего, от всего отшатнулся.
И мой путь был не то чтоб хорош. Но не очень плох.
(По крайней мере, хоть самым краешком глаза,
мне удалось подглядеть, в чем он есть – Господь Бог...)

58.
И поэзия зарождается в эпоху фотоаппарата...
Поэзия зарождается во времена термояда...
Зарождается тогда, когда ей надо.

ПЛАЧ ПО РЭКЕТИРУ

Василию Кукаеву, герою нашего двора

1.

Нет печальней истории, чем про Великого Гетсби в городке между Синей Ордою и Белой Мордвою, где ночами жгут нефть, и языческий градус прозренья растворён забродившей в тепле лягушачьей икрой. Непрестанно моргающий оком хрустящего рынка, вымывающим сладкой водою фабричную слякоть, он задолго до звезд, превращаясь в пугливую пустошь, затихает, как стянутый ржавчиной сабельный марш. Опустелость пространства спасает его запустелость небывалой альпийской акустикой конструктивизма, и вагон, пробиваясь к театру по рельсовым стыкам, забивает ряды костылей в междометие скул... И когда прогоревшая взвесь перемолотой пыли разбегается по мостовой травяною волною, обсыпает слепой поволокой глубокие камни, замирает на умных озерах в мазутном приборе – свежесть хлеба во многом подобна замшелости камня, твердогубая молодость больше похожа на старость, и рассеянный звонкий разбег опереточных арий многим правдоподобней, чем варварский плач.

2.

Я решил рассказать тебе всё про Великого Гетсби, как в парящую лоджию номенклатурного дома он входил поутру, чтоб погладить живого павлина, как в парадном привычно кивал эполетам лифтера, наравне с отгулявшим и дряхлым обкомовским смердом, наравне с восходящей к зениту балетной звездой, он почувствовал первым конечность прямого движенья. И отныне его больше нет, потому что он умер.

Сколько времени нужно, чтоб как-нибудь в это поверить, сколько денег на поило, чтоб вычеркнуть из мирозданья низколобую истину передового сословья, большеверую, ставшую кровью, ковбойскую веру?! В крутоплечих соленых костюмах от Адидаса, в окруженьи бродяг и красавиц в чернильных рыданных, они шли за ним следом с вокзала к большому престолу, и взошли на корявый престол, и на нем не остались.

О, сырая вещественность жизни в зеленой валюте, самоварное золото толстых нательных цепочек... ворс татарских ковров... фотографии женщин на тюремных дверях апельсиновых, тихих сортиров... О, предельно простое спряжение заморских глаголов, угловатость солдатских сапог и прохлада крещенья, равномерно кричащая в ухо свобода эфира в черно-белом застенке проснувшихся утром с похмелья.

Вместе с первым рабочим гудком из трубы саксофона, вместе с лунною ночью и длинной цыганской дорогой он поднялся однажды с поющих железных матрасов и услышал шаги, и, наверное, взял себя в руки. Потому что надежды хватало на всех, кто решился, и на всех, кто отчаялся выжить на сером просторе... И уже через год скovyрнулся в дерьмовую яму, потому что чуть-чуть перебрал, потому что не понял... О, святая забывчивость смерти в квадратном граните, дым чахоточных свечек, знакомство граненых стаканов! Поцелуи трагических дам в опустелых подъездах, фейерверки салютов из слезоточивого газа! И сгорающий к ночи от скандинавского спирта разговор о Морисе Дрюоне у плёвой горелки.. И опять темный скрежет водоснабженья... И опять, и опять невозможность прямого движенья.

Я хочу рассказать тебе всё про Великого Гетсби, потому что куда не вижу другого героя

в полинялой газете отчизны, в усталом свеченье
разлетевшихся фосфорных брызг в темноту чернозема,
в эту плесень назойливых глаз с прописной добротою,
в костяные улыбки ублюдков в истерзанных фраках,
потому что я тоже не вижу прямого движенья,
и шампанское в этих гостях вечно пахнет мне псиной.

3.

День уже наступил, а еще верней – полдень.
В черном раструбе, кажется, только двенадцать било.
Моя мать прошла от соседки с холодным бидоном,
старики на скамейке уснули, смотря себе в руки.
Воробьиный горох тополей высохал и дробился,
разрываясь по швам молодой смолистою кожей.
И, закончив скольжение на вертикальной вершине,
солнце вымыло начисто голые стекла.
Мир неслышно готовился к часу немного расстрела,
подбирая хрусталикам глаз образцы диафрагмы,
повернув каждый взгляд в глубину земляного сомненья,
что, должно быть, во многом сродни сновиденьям
про старость.

Потому что – чему же еще? Ведь, наверное, смертным
ничего нет страшнее, чем старая глупая старость
в облетевшем дворянском гнезде на углу Гарибальди,
где всегда будут жить только боги и лучшие воры...
Там, где вздрогнув всего пару раз за недолгую вечность,
будут строго висеть на стенах драгоценные сабли,
где в кладовках стоят, ожидая пыжа, карабины,
а на лоджиях – бочки с капустой... где жарят жаркое,
обливаясь слюною над бросовым импортным пивом,
обливаясь слезами над фильмом про бабью любовь.

4.

Серый двор напряженно светлел, раскаляясь вольфрамом
склеротических, въедливых к старости, трещин асфальта.
Майский луч ворошил каждый угол неслышной клюкою,
приготовившись к играм допроса. Через минуту

въехал мусоровоз, утопя колеса
в слякоть мятых кульков из-под импортной снеди.
Вдоль ограды скользнул мерседес утомленного мэра.
Ожидая хозяев, в кабинах курили шоферы.
Наступал роздых ланча, и, думаю, вряд ли
небо сможет однажды нарушить сермяжный порядок
этой вечной китайской стены с простынями на крышах
вдоль границы Сибирской Орды с Понизовой Мордвой.
И в одиннадцать пятьдесят семь, из случайной машины
они вышли в черных платках, прикрыв подбородки,
и открыли стрельбу из израильских автоматов,
до тех пор, пока Он не лег на живот и раскаялся кашлять.
На земле было холодно, словно на плитках пивбара.
(Почему-то я помню ступеньки холодных пивбаров,
где в уборной над писсуарами пляшут мужчины
в такт карибскому регги из верхнего зала пивной.
Кстати, женщин там нет и в помине, и не за что драться,
и когда убивают друг друга – то только по пьяни,
но когда убивают друг друга нарочно, возле подъезда,
можно очень задуматься, – ну и зачем?)

Я не прав?

Я не прав, потому что не знаю всей правды, и вряд ли узнаю,
но хочу рассказать тебе всё про Великого Гетсби.
Потому что могу говорить. Если кто-нибудь может –
пусть и он говорит.

Но невероятно,
что хоть кто-нибудь сможет нарушить угрюмый порядок
ледяных морозилок с пельменями, водкою, любовью
в городке между Синей Ордою и Белой Мордвой.
Эти хлопцы по-прежнему бойко стреляли
по хлопцам,
и герой мой скатился к колесам автомобиля,
и плевать ему было – под свой ли, чужой ли,
под какой-нибудь инвалидный автомобиль.
Остальным bodyguard-ам, увы, дозволялось
умирать вверх лицом, улыбаясь зубами,
и казалось, что эта стрельба продолжалась полгода...
Настолько хотелось добить.

Как приятно стрелять!

Как приятно держать пятернею живое железо,
как забавно поднять на руке неродного младенца,
даже купленный заживо крохотный розовый пудель,
тоже чем-то походит на смерть.

Как приятно стрелять!

Как приятно остаться живым после радостной свадьбы,
в азиатской столовой, в плену переломанных вилок,
с удивленной красоткой на удивленных коленях,
победительницей конкурса областной красоты!
Как приятно стрелять, а не строгать кресты.
Сколько гордости в белизне носилок!

5.

И кривые пунктиры стучали в гнилой парапет.
И челюсти в масле старались доверчиво чавкать.
И в мертвых мужчинах ломались сырые колодки.
И головы приняли матовый цвет пожилых черепов.
И безобразные руки цепляли песок,
огромные детские руки из грязи и хлеба,
которые б вымыть для памяти синего неба,
чтоб кто-нибудь смог целовать.

Но куда уж теперь?

И кровь с желтой крошкой костей
поплыла из прорех

исподнего.

С ног потерялась солдатская, чистая обувь.
И в офис жандармов ввезли десять ящиков водки.
Встречайте нас с миром, любимые наши враги!
Встречайте нас с миром, мы тоже исподние люди.
Мы тоже не видим законов прямого движенья.
Мы тоже лежим на бордюрах, не в силах заплакать.
Мы тоже упали в брезгливый, родимый асфальт...
И этот прощальный салют улыбался и длился.
И дети в песочницах тоже стреляли и длились.
И синий овал бирюзы на подаренных кольцах
чернел. И зубным порошком никогда не отмыть.

6.

Я спал в это время, стараясь принять положение
зародыша в чьем-нибудь брюхе. А впрочем,
я слишком уж ласково спал, и когда моя мама
сказала, что нечто стряслось с нашим неким соседом,
я вышел наружу и встретил обычную бабу,
укрытую чуть ли не деревенским платком.
Она и рыдала над смертью Великого Гетсби,
Великого Васи Кукана, затмившего мир.
Я вышел на улицу для собиранья гильз.
И парни снимали цепочки с простреленной шеи.
Они говорили, что золото нужно оставить
для нужд продолжения рода. Да, нужно хранить.
Подруга рыдала, как только рыдают подруги.
Кричала, что только шакалы подходят к телам казненных.
Она голосила –

«Собаки вокруг, собаки...»

они окружают меня, всё ближе, всё больше».

Могильщики подкатили только под вечер.
«Собаки вокруг всех нас, собаки, собаки!»
Народ непрерывно бродил – но потом перекрыли.
Встречались красивые телки – но их охраняли.
Какие-то парни из песен про маму-Одессу
носили трагедию в лицах, как Ален Делон.
Встречались верзилы в разодранных телогрейках,
какие-то кострюки в милицейских фуражках...
«Собаки вокруг всех нас, собаки, собаки!»
Потом ее увели. Стало потише.
Мой отец подъехал к обеду. Было время обеда
в городке между Умной Мордвою и Пьяной Ордою.
Герои царили. Очень смущала одежда.
Те же самые куртки: что на живых, что на мертвых.
Такие, видать, завезли – кстати, очень неплохо,
но однообразно.
Отец не заметил. Он не мог замечать ерунды.
Я всегда замечаю...
И, проходя сквозь строй обостренных шакалов,

он сказал им: «Подонки, нужно работать,
а не стрелять друг по другу».

Ребята смеялись.

Они жгли свои свечи и разливали спиртное.
Еще пару дней «лишь только двенадцать било».
И потом несколько карабинеров
наконец подкрепили вином свои силы.
И толпа смогла подойти к трансформаторной будке.
Вот здесь и свалили с ног Великого Гетсби,
вместе с его сигарой и классной женою,
вот здесь, около пункта электроснабженья...
В гробу я видел любое прямое движенье.

7.

Хозяин угрюмого города в пять этажей,
с тремя ледяными церквами и каменной башней,
где дремлет в обнимку с графином столичный наместник,
а если и даже проснулся – то что с него взять?
Опричнина тоже навряд ли удержится в силе,
жандарм из хромой деревеньки – размером с дворнягу,
еще остаются купцы и простые убийцы.
Приветствую Вас, господин молодой капитал!
Я что-то когда-то читал про подобные нравы:
порою забавно, но очень однообразно,
пока сам не выстрелишь несколько раз в бездорожное небо
железной земли на границе с Верблюжьей Ордой.
Великий Василий Кукан из семьи шулеров,
из самой приличной семьи (это тоже искусство),
фарцовщик, бармен, сахариновая элита,
плеснувшая в наше лицо из дверей кабаков...

Он выстроил несколько сказочных зимних дворцов
в лесах вдоль кандального тракта,

привез разноцветных
конфет и печенья в фанерные лавки державы,
купил телевизор для детского дома,
продал изумрудный рудник,
когда надавили соперники;
пообещал

воздвигнуть гранитное капище каменной бабы
для памяти жертвам репрессий, угробил штук шесть
воров из закона, что делать грешно, иль просто,
по-моему, вредно. Скорее, опасно.

(Приятно молчать, если связан с такою братвою,
хотя бы соседством.)

Какой коза ностре дозволено брать города?

В каком еще веке, в какой своежильной державе
гуляли б веселые деньги таких величин?

– Мол, я продаю тебе танковую колонну, ты мне – удачу
на бирже в районе Уолл-стрита;

– Я отвалю редкоземельных металлов,
мне – полсотни вагонов с водярой «Smirnoff».

Такие красивые цены на медь, как и цены на девок,
не говоря уже о цене на предметы искусства.
Иконы идут хорошо, но гораздо серьезней
торговать черепами расстрелянных императриц.
Черепушки царей – дефицит, да и слишком вальяжно,
да к тому же мы все – хоть немного да патриоты.
Мы лишились по пьяни прекрасного Черного моря.
Это даже смешно – этот берег так просто купить.
Да, он делал нахальное дело, лихой человек,
и он мог бы остаться подольше, и мы б повстречались
ну хотя бы в районе Л.А.-я. И я бы сказал,
что хочу рассказать и ему про Великого Гетсби.
И это бы было нелепо, но было бы славно,
поскольку о прочем я бы не смог говорить...
Он был мне хоть в чем-то приятель, забавный мужик,
мне нравились тоже девичьи в дешевых лосинах,
в чудных сапожищах, – глазищи, полшуда помады,
аэробика, бред из журналов про высшую моду,
и вся требуха разговоров про раннее детство,
чтоб стало неинтересно, что́ есть между ног.
Неужто за это боролись, чтоб так опуститься?
И барышни стали ничем, и потом – даже деньги,
потом – и поминки, и свадьбы, и даже рыбалка,
где ходят вдоль берега с неводом, полным травы...
И всё оно стало ничем, и значительно ближе

афганцы, поганцы, лихие казацкие танцы,
мечта о Венеции, чтобы проехать в гондоле,
в канале, в июле, и за минуту до пули,
хотя бы всё в той же Венеции или в Алжире.
С деньгами можно смотреть на вещи пошире.
Всё равно б расстреляли. И это, мой друг, очевидность,
и это, мой друг, понятная очередность,
и это, мой друг, понятная незавидность
бандитской судьбы...

8.

Его хоронили, как и подобает вождей.
Заводы гудели, охрипнув от гордого крика.
В чумном городке на границе с рабочей Ордою
так много секретных заводов.
Но я не знаю секрет.
Его хоронили, как и подобает вождей.
Властителей дум или деспотов, мазанных кровью.
Толпа чует время на удивление точно –
будь то добрый граф, самодержец
иль пьяный чудаки.
Я помню сухую язвительность собственной морды,
когда государство в сердцах хоронило пророка
одной из красивых идей. В многоцветьи влюбленных
я видел лишь очередь в консульство дальней страны
и хлопцев Великого Гетсби.
Их жизнь – только здесь.
Я очень стыдился такой прозорливости. Это нормально –
стыдиться того, что ты знаешь. Гораздо пошлее
уверовать в скорый исход исцеления душ.
(Но двигать процесс исцеления по собственным меркам
намного преступней, чем просто убить проходимца
за то, что зарвался.)
Какое же дело
до этой баланды таким стихоплетам, как я?
Я просто пытаюсь припомнить простейший сюжет
из близкого прошлого родины. Чтоб ни случилось,

но я сохраняю повышенную любезность
к тому, где я жил.

Плевать, что я жил и живу в нескольких городах.
Это слишком хорошая, даже громоздкая память,
подкрепленная каждым полночным звонком телефона
с сообщением о смерти друзей.
И я, в общем, привык.
И, к тому же, ничто не способно сломать содержание снов.
Стал бы я рассуждать в них о карме Великого Гетсби?
Да ни в жизнь. Потому что про сволочь
я могу, к сожалению, думать лишь в пасмурный день.
Он сегодня такой.

9.

Я вернулся в мой город.
Конечно, знакомый до слез,
до хмельного синдрома, до
того «как давно мы не были дома», до того, что
меня уже не выпускают
из гостей, говорят: «Становится поздно».
Невозможно поехать к девице на самосвале,
невозможно угнать такси, чтоб не пристрелили...
Всё это вранье, но люди привыкли
говорить такими словами.
И я склонен им верить. Я и сам говорю похоже,
обращаясь на «ты» к продавцу шагреновой кожи
мотоциклетных курток.
Обращаясь на «Вы» к старику с пятью орденами,
победившему в давешнем сне все вселенское зло.
Ведь сколько б ни убивали хмельных синяков,
остается кондовый настрой
между Синей Ордою и Белой Мордвою,
где еще удаётся бродить по бульжным тропинкам,
глазеть на афишки с рекламой интимных услуг
местных барышень.
Но до конкурса красоты
лучше стрелять, а не строгать кресты,
лучше стрелять прямо в небо и, завещая

свою смерть кому-нибудь из бандюг,
попросить поставить на кладбище каменный кукиш.
Прямо в небо.

Уж не знаю, что воздвиг себе фраер Василий Кукан.
Я не очень-то грежу этой кабацкой вендеттой,
возвратившись туда, где я все еще есть

«всех живущих прижизненный друг».

Если ходят трамваи (разумеется, помню твой
главный трамвай с номерком 26), если жарят жаркое
из абортуса дохлой индюшки на дохленькой плитке,
если так же легко говорят с вахлаком

с панибратским акцентом,
словно «хочут чего-то узнать». Если все распустилось,
разобшилось, расклинилось и разбрелось...
И опять вдоль реки засверкали паяльные лампы,
и на скрюченном Царском мосту, обнимая перила,
вновь стоит мой приятель; и где-то звенят коромысла
в отдаленном цыганском поселке. И я всему рад.
Здравствуй, близкий, как треп, мой веселый цыганский город,
куда мы въезжаем с веселым немецким шофером,
который сигналил задом и тоненьким спинкам,
который знает Вселенную только по теплым перинкам...
Я решил рассказать и ему про Великого Гетсби,
а он улыбнулся, и так хорошо улыбнулся,
что я вспомнил лотки за рельсовыми путями,
казино «Бумбараш», и общаги с прокислыми щами.
Да, браток, не нужно шутить с такими вещами.

Городок сей гораздо серьезней, чем мы получились,
нам гораздо спокойней смотреть в этих радостных телок,
увидав как будто впервые пудовые груди,
тяжелые задницы, полуживые глаза...
Здесь едва ли рождалась идея голимого тела,
здесь любой мог бы стать мизантропом Чезаре Ломброзо,
особенно рассуждая про женские члены,
негодные для любви. Разве что для семьи.
(И, кстати, мы с моим другом Серегоею Баренгольцем,
заехав однажды сюда,
навсегда и решили, что уж с ними нам не по пути.

Мы очень переживали –
тата mia, тата, куда мы попали, что за место такое
в Мордве и языческой Чуди.

Нам здесь вышло гнездиться...

Нам вышло все это любить.)
Здесь рождались правители с мертвым лицом паханов,
с неумытою пьяной башкою, разбуженной в перьях
вялых куриц подушек. Здесь голосили,
прижимаясь губами к бедру отопительных труб,
чтоб потом промычать на трибунах про скорую волю
опустевших заводов, про гладкие тёсы усадеб,
про глухие амбары звенящих фальшивых монет.
Здесь стояли картавые храмы разумной науки,
кстати, даже евреи дразнили друг друга жидами,
задыхаясь от сказочной рифмы и педикулеса...
Все мы вышли оттуда, на удивление – все.
Алкаши в полубубках, ребята с подвешенной речью,
пробивные гундосы, чье место лежать в мавзолеях,
потому что при жизни навряд ли хорошая девка
ляжет рядом. Паскуды, сломавшие мир.
Чудаки, что поверили в святость прямого движенья,
разыгравшие пьесу до головокруженья,
чтоб вагон, пробиваясь к театру по рельсовым стыкам,
непрестанно звенел и качался. Ах, хоть бы звенел...

10.

Я хотел рассказать тебе всё про Великого Гетсби,
но в краях между Синей Ордою и Белой Мордвою
даже дети молчат. Их выводят на люди,
а они продолжают молчать.
Нам бы этот покой.
Нам бы эту способность вглядеться в большой материк
с воровскою державностью Васи Кукана, и даже
нам бы тоже почуять, что так и устроена жизнь.
Что льняные одежды и пляжи уже не по силам.
Мы приветствуем частность, как будто великого часть,
твердолобую частность сырого застолья и воли,
дорогие подарки на свадьбах с любой иностранкой

или мятые скальпы террора последней войны.
Нам бы тоже сыграть на трубе в городском тихом парке,
нам бы тоже проехать до театра, или до дачи
с простодушными горничными. Нам бы
займать тот же имидж, что у Великого Гетсби,
эту мерзко-широкую кость молодых староверов
в середине планеты, в дыре,
в энергетической яме,
у озер, где поблизости нет ни одной судоходной реки...

ЮЖНЫЙ ТОВАРНЫЙ

Тане, прощаясь с далеким Югом

Южный товарный проходит часам к шести.
Самое время. Так что давай, шерсти,
тормоши своим сдавленным криком гнилую тишь
самой странной на свете столицы.

Серая мышь
кувырком обрывается с насыпи. Всё быстрее
на ветру разгораются всполохи фонарей.
Южный товарный, сорви щеколды с наших дверей,
распугай курей, разбери черепицу крыш...

Вечный поезд, ползущий из дебрей сырых лесов,
приближается к городу,
где ты пока еще спишь,
словно сказочный змей, раздвигая ночной камыш,
откликаясь военной трубой на какой-то зов.

Громыхая суставчатым лязгом тяжелых платформ,
коробами угля, керамзита, морского песка,
пустотелым модерном сварной арматуры –
пускай
никогда не понятных природе разорванных форм.
Вечный поезд несет континенту его мертвый корм.
И все слаще на вкус и дороже цветной хлороформ...

И потом наступает загишь. На сколько минут,
никому неизвестно – его и не ждут,
потому что привыкли к дороге, как к шуму воды,
от скандала остались лишь рельсы. Наверное, ты
спишь, как прежде, сжимая в охапках
объем пустоты.

Это и напоминает, что мы еще тут.

* * * * *

До рассвета осталось немного, и я подожду,
сохраняя оранжерейный привкус во рту,
что вот-вот станет жаждой. Рефлексы нутра
в ужасе припоминают слово «жара».
Южный товарный скребет по железу, словно в бреду,
продираясь в какое-то завтра сквозь наше вчера.

Он идет мимо города, где ты уже спишь,
легендарным Шерманом, спалившим город Париж,
ну по крайней мере, Саванну, но это лишь
было страшным началом. Попробуй усни, малыш.

Это енйки вкатились в наш город и бросили медь
в воды речки Салуды, чтоб здесь им не помереть,
и ушли себе в снежные джунгли, но снова во сне
я слышу – как с Севера в гневе бредет медведь.

Или латники скачут, каждый на сильном коне,
в руках у них яркие факелы и кресты.
Усни, сжимая в охапках объем пустоты,
а если попросят ответить – ты им не ответь.

Потому что мы – не они, мы соседний народ,
потому что кресты здесь навеки вошли в обиход,
да и то потому, что однажды Христово войско
завершило именно здесь свой последний поход.

И, рассыпав все веры, деленные на сто крат,
повелело, что каждый ближний мне станет брат...
На Севере все слишком туманно и скользко,
на Севере остается один разврат.
А здесь даже люди из хижины дяди Тома
знают такое слово «фотапшарат»...

Спи, мой мальчик, уткнись в свою детскую темь.
Будущий поезд поедет где-нибудь в семь.
Спи, и никогда не уходи из дома,
а если уходишь, пожалуйста, не насовсем.

Там, в теплой ирландской постели, в рыжем пуху,
спит твоя, мальчик, невеста – там, наверху,
в доме у Салливана и толстой Мари.
Какая хорошая девушка, посмотри...

Южный товарный пугает только детей,
он очень редко сходит с этих путей,
и то, когда на них упадет плащ супермена
или полные рыбы клочья рыбацких сетей.
Южный товарный, в тебе – только измена.
Ты катаешься по костям грядущих смертей.

* * * * *

Южный товарный проходит часам к восьми.
Если ты хочешь, то прямо сейчас возьми
меня. И я вечно буду твоею.
И буду, смотря тебе вслед, стоять за дверьми.

И еще – пригласи меня в ресторан,
куда-нибудь в Чарлстон, загадку ближайших стран,
где устрицы, вечный суп из мамы-краба,
пиво, какой-нибудь сыр. Например, пармезан.
Ты же видишь, что я сама как лапочка-лапа...
Да и у тебя в петлице – свежий розан.

Мы будем жить там в мотеле недорого,
но я ни разу не вспомню ни о ком другом,
потому что добраться до самого теплого моря
можно в твоей машине. Могу и пешком.

А ночью ты будешь пьяный лежать на песке
и бормотать ерунду о своей тоске.
И я вдруг подумаю, что наша свадьба
опять повисла на тоненьком волоске.
И еще я подумаю, как мне удрать бы?
То ли по морю, то ли по Салуде-реке.

* * * * *

Южный товарный проходит часам к девяти.
Что-то уже скребется в блеклой кости,
когда ты уходишь к себе на работу,
в японском пейзаже, через рельсовые пути.

Я смотрю тебе в спину, словно в свою ладонь.
Мне не по нраву смиренный, живой огонь
зарабатывания копейки. Люблю субботу,
словно хасид. В этот день ты меня не тронь.

Да, не трогайте нас. Мы – почти родня
даже с Южным товарным. Когда меня
окрестили здесь в лютеранство, я знал, что это нормально,
лишь бы поезд катился по рельсам, грубо звеня.
С религией я был знаком, так сказать, визуально.
(В образе мамы Хелены, день ото дня,
проступала святая практичность за падшую душу,
нечто с запахом мыла, бензина и ячменя...)
Представляю, что она завещала бедному мужу,
оставив его одного стоять у плетня
бесконечного кладбища.

Моя крестная мать умерла в воскресенье,
чтобы воскреснуть с гудком паровоза.
Вспомни меня.

Я лежу, ожидая жары, я навеки – ваш.
Южный товарный уходит почти в тираж.
Я склонен считать, что это твое веленье,
когда беру в руки бумагу и карандаш.

Южный товарный, греми подобно дерьму
где-нибудь в проруби. Я выбираю тюрьму
дешевой суме. И, коли так получилось,
давай разойдемся, милый, по одному.
Давай, уходи, громыхая в чугунную тьму.
Будь чем-нибудь, что уже не подвластно уму.

* * * * *

Южный товарный проходит, словно болезнь,
словно кашель – лечить его стало лень.
Например, господин и товарищ Иосиф Бродский
говорит, что жизнь нужно кончать в плену деревень.
Я лежу на кровати. Сегодня я очень плоский.
Даже эти стихи своей мордой писал тюлень.

И, наверное, и этот стишок а-ля
этот самый поэт. Но если начать с нуля,
ничего не получится, что бы тебе ни приснилось, –
всегда по-разному курится конопля.

А Южный товарный сейчас удивительно бодр.
Он тянет тебя в синий лес, темный бор
для собиранья грибов или ягод.

Скажите на милость,
что бы я делал без вечно опущенных штор?
Жарил бы постное масло, точил бы топор,
до тех пор, пока душа не выпорхнет из пор
беспокойного тела. Послушай, ну как ты посмела
выйти совсем без меня на великий простор?

Ты чем-то умнее и лучше? Ты видишь кресты,
сжимая, как прежде, в охапках объем пустоты?
Вокруг тебя извечно идут по кругу
только поэты и сказочные шуты.
Ты и не поняла, должно быть, с испугу,
что мгновенно избавилась от суеты.

* * * * *

Южный товарный обычно проходит в ночь.
Ты болеешь этим составом, похожим на «ноль»
в кратковременной цифре сложного счета из банка.
К тому же, уже родила некую дочь.
Почему-то я верю, что эта пьянка-гулянка
не закончится тем, что я лягу на нож

проходимца. Я – грохот в твоей горсти.
Если Южный товарный проходит часам к шести,
значит, это кому-нибудь надо, твоя помада
до сих пор у меня на щеке. За это прости.

За любую красивую пошлость, за этот накат
словоблудия в несколько сотен ватт.
Сколько вер растворились здесь, словно в тумане,
предчувствуя, что я им – кум и сват...

Здравствуй, мама, я очень религиозен.
Я навеки стал твой мягкотелый солдат.
Я, как прежде, любимая, так же серьезен.
Хотя и не удивлюсь, скovyрнувшись куда-нибудь в ад.
Я, как прежде, таскаю тяжелую фигу в кармане.
Мама, ты знаешь, я в этом не виноват.

* * * * *

Если Южный товарный идет, кажется, через час.
Через тридцать минут, словно зверь, просыпаясь в нас,
начинает болтать чепуху по-русски,
даже не в профиль, а напрямик – анфас.
«Ты стала еще красивей в этой синей блузке,
словно блюз, чистый груз, словно легкий газ».

Я влюблен в это время, не знающее числа,
но достойное фразы о том, что ты – была,
что я спал когда-то вместе с тобою в одной кровати,
собирая остатки мамкиного тепла.
Что ты видела в этом пьянчуге и конокраде,
глядящем на тебя, словно из душла?

Человека, которого вряд ли держать всерьез
было можно, как и перестук колес
поездов, или там табунов Чингисхана,
неожиданно накативших на чистый плес.
Мы встретились слишком поздно, и слишком рано.
Забавно, что еще не наступил мороз

в наших с тобой отношениях. Мы – еще чета
своенравных любовников. Но ни черта
никому из обеих сторон радостно непонятно.
То есть жизнь за плечами сказочно непроста.

Мы довольны подобным исходом.

Наверное, ты
спишь сейчас, обнимая руками объем пустоты,
словно тело холёного мальчишка. На ветру
можно на время забыть про жару,
которой бы пора накатить и на этот город,
которой пора бы содрать с меня кожуру
слабонервных привычек. Я счастлив, я молод.
Я пою Боба Марли, Фрэнка Синатру, другую муру...

* * * * *

Я привык приезжать в этот город на поездах.
Так дешевле. К тому же – леса в цветах
наиболее полного спектра крутой акварели,
которую ни за что не продать в этих местах.
Здесь не любят художников. Любят, но еле-еле.
Знают меру. А миллионы платите в других городах.

(Я встречался с одним. И он был удивительно плох.
То есть пьян. И наш разговор через час заглох.
И я понял только одно – что в результате
его навеки оставили баба и Господь Бог.)
В поездах у попутчиков те же сюжеты. Расплате
и положено наступать, лишь почуввав вздох
глупой слабости.

Жители поездов
здесь ужасно похожи на наших Вечных Жидов,
те же ножи, пистолеты, в мешках – романы...
Я читал их в середине девяностых годов
в поездах до Далекого Юга: один только мат,
в которых вечно блуждает герой-солдат,
и его окружают бродяги, огни, туманы,
Джеймс Джойс, Эйнштейн, Нильс Бор, сопромат.

* * * * *

Да, конечно, и эти стихи о любви,
незатейливой, словно из песенок по MTV,
потому что в этих краях все, увы, простодушно,
а устала – так не смущайся и оборви
меня на полуслове. Становится душно.
И соль океана, как возраст, гуляет в крови.

Поглядим, что получится дальше. И я подожду,
сохраняя этот оранжерейный привкус во рту.
Южный товарный проходит мимо, словно в бреду,
громыхая в душе, выявляя ее пустоту
и доверчивость. Утром становится хуже,
потому что моя неуместность – уже на виду.
Удивительно быстро в садах высыхают лужи.
Светляки спешно гаснут, словно цветы на лету.

И Южный товарный колышет прозрачность штор,
устойчивость особняков, погребальных контор,
военных фортов, над которыми плещут флаги,
перечеркнутые накрест, красные, как мухомор.
Это и напоминает о последней атаке,
о тысячах трупов, упавших на желтый простор
атлантических пляжей. И серая униформа
Конфедерации тлеет на солнце, как неоконченный спор.
Это моя столица, моя платформа,
несколько горных рек и зеленых озер.

Мое протестантство, язычество еретика,
детский взгляд куда-нибудь в облака.
Южный товарный, молись за душу мамы Хелены,
расколи видение сгорбленного рыбака.
Сколько ни суетись – вокруг только стены.
По крайней мере – пока.

* * * * *

Поэтому мне нужен поезд. Часам к пяти
он поедет опять. Не жалься, не совести
ты меня – у меня тоже есть совесть,
которая, как ни странно, в самой кости...
Я тоже пишу некую повесть,
иногда раскрывая свои челюсти.

И если мне стыдно, то только лишь за себя.
Как мог я позволить, жалким пером скрипя,
бормотать ерунду о чужом, незнакомом горе,
о том, что не знаю. Конечно, это ребя-
чество. Оставайся ребенком,
если силы хватает, если хватает рубля.
Я хотел бы заговорить – ну о самом тонком.
Но сегодня, увы, не могу начинать с нуля.
Может, завтра смогу. Здесь на Юге, на море,
где позорищем кажется смерть. Или, там, петля.

Где приличней качать негритенка на белых руках,
Южный товарный идет в уходящих веках
мимо нашего счастья. Я тоже гулял на воле.
Все, что я делал, – было впопыхах.
Вот и валяюсь в перьях, словно в крамоле.
В запахе женских чулок, в шикарных духах.
Южный товарный, катись себе в чисто поле.
Южный товарный, оставь меня в дураках.

* * * * *

И он входит, срывая одежду с сохнувших пальм,
словно ветер, крутящийся смерч, горящий напалм,
щебеча чепуху и псалом, говорок, песнопенье,
чтобы ты хоть однажды да не проспал
нечто главное – оно все-таки есть –
сколько там ни шути, ни пестуй природную месь,
но Южный товарный несет в себе измененье,
добрую или злую, но все-таки весть.

Южный товарный мне мнится Походом Слез,
печальным исходом индейцев в скрипе колес
и воплях младенцев, в насмешке над Старым Заветом
идущих в пустыню, как маркитантский обоз.
Они должны бы вернуться Индейским летом,
по-нашему – бабьим летом. Это – вопрос
времени. Чероки вернутся.

И мы вернемся друг к другу.

Легенды всегда – всерьез.
(Сомневаюсь, что жизнь идет конкретно по кругу.
Поэтому не слишком уж и задираю нос.)

И Южный товарный раскачивает бахрому
над этою милой картиной, каплет сурьму
вновь наступающей ночи, которую взглядом
не растворить. И не надобно никому.
Идти нужно лишь с тем, кто способен
двигаться рядом.

Так что давай разойдемся, милая, по одному.

Ничего не поделать, раз нас выбирает стиль,
прижимая, что к стенке стилетом. Порой водевиль
интересней трагедии, если герои целеустремленны
и не пускают друг другу в глаза красивую пыль.
Сначала казалось, что путей – миллионы.
Теперь – только рельсы, да по краям – ковыль.

Здесь смешно принесение в жертву своей судьбы
ради идеи любовника. Стряпать супы
и баюкать счастливых провидцев – слишком избито,
да и некогда тоже. Не будем глупы.
(Тоже мне Мастер, тоже мне Маргарита...
Впрочем, вся та история – для толпы...)

И мне не хочется пробовать повторить
старомодную сказку, страсть, одержимость, прыть
своего недавнего прошлого. Дети не то чтоб тупеют,
но как-то стало не о чем говорить...

Здесьний настрой побеждает, царит, довлеет.
И мне это нравится. Возможно, брошу курить.

И снова уеду на Север, бренча на губе
Бетховена, Глюка, Стравинского и т.п.,
надеясь то ли на Бога, то ль на везенье.
Вообще хорошо, когда – сам по себе.

Чтоб стыд поэзии сняло словно рукой,
расставаясь с подругою или своей тоской...
Чтобы я праздновал разом Субботу и Воскресенье,
почувствовал бы впервые нормальный покой...
Но Южный товарный гремит над Салудой-рекой.
Баламутит опять и, словно струну, чеканит сомненье...

ALGAE

памяти Евгения Пельцмана, друга Гарри

Прибрежный тальник в черной накипи гнили бестолково затопленных в раннем апреле лощин, напряженно гудит сердцевинной надломленных прутьев, вторя гулу железной дороги.

Запутанный лес этих жестких рыбачьих растений, очнувшись в воде, интересной, как вещи на дне затонувшего судна, приучается к чавканью собственных длинных теней, не желающих сдвинуться с места.

Возможно, под вечер, покрываясь какой-то белесой гусиною кожей, он сгущается в образ тепла и живого тумана, из которого стали немного слышны голоса.

Ледяная бесцветная кровь из древесных прорех тяжело застывает на сломках умерших волокон – кровь животных гораздо сильнее, и ей не застыть языками на жестких боках, ускоряющих бег.

Мы в начале войны, что не знает движений и слез, даже грохот железной дороги – всего только звуки сердобольного мира, в котором труднее понять, что насыщенность – это и есть настоящий покой.

Нагнетание ночи, привычное сенсору глаз, бесконечно простая сознательная развоплощенность непогибшей души из низинных астральных слоев означает сама по себе собиранье жизни, попрошайство самоубийц и преступный порыв.

Все равно не заметить ни волн, ни костлявых утесов, что похожи вдали на стекающий угольный шлак; один берег бывает крутым, а напротив – пологим; это – факт наблюдений за реками в этих краях.

Объяснение нужно всегда, даже если во сне я встречаю однажды погибшего человека, я ему говорю – ты не можешь быть тут. Твоя мама сказала – ты умер. Поэтому он отвечает, чтобы все оставалось нормальным: «А ты не смотри, что я очень похож, просто я – его брат».

Есть любители снов, и есть нелюбители снов – я не знаю, к кому отношусь, и теряю различье между мнимым и явным. И в этом нет ни гордыни, ни счастья, ни прочих рабочих чудес.

Перебитый тальник в устье тракторной колеи, развороченность почвы, в которой цены перегноя нет ни на грош, в котором есть только вкус вешнего паводка, вымытые минералы, оставляющие кристаллические решетки, наподобье скелетов заблудившихся щук.

Вы видели тело змеи, что беременна человеком или английским ключом? Или просто босую ступню с татуировкой черепахи? Вы слышали речь на языке эгрегоров, с которой б смешалась кривая татарская брань?

Вряд ли кто-нибудь часто глядит себе в ноги, в эту жижу увядшего торфа... И дряхлый сугроб начинает гореть, словно белый кладбищенский фосфор; и тальник снимает перчатки с промасленных рук.

На секунду просвета реки можно вспомнить про скорость погибания прочих планет и забывчивость душ, что вернулись в тебя на секунду, а ты не заметил, лишь заметил какое-то место на карте. Возле воды.

Существуют другие планеты, пора б это знать в ожидании полной надутости сердца, его полного крика, что должно быть, понятно лишь эхолоту и нетопырю, – тем, кто может понять ультразвук и кладбищенский стук.

Вновь идет железнодорожный состав, составляющий сущность всех прозябаний, из движенья которого можно бы вычленить несколько нот, что способны спасти или тронуть. Или дать по рукам.

Пахнет дегтем для смазывания сапог, макияжем и дымом, залетевшим сюда от сгорания камышей; потому что камыш здесь горит каждое воскресенье, нужно только умело ронять свои спички, или для чистоты идеи просто поджечь...

Проступает весна, как уверенность, эта хвальба проступает каждый сезон, каждый апрель; и похожа на самоуверенность, на офицерство в смысле походки; я слишком нахально хожу, и слишком уверен в себе – ненадолго, но стыдно.

Ты работал на «скорой помощи», веселый мужик, – и когда нам было нужно куда-то поехать, ты звонил и представлялся мужем рожавшей дамы, ты объяснял ужаснейшие симптомы, потому что ты знал, что тут надо сказать. Конечно, они приезжали и, конечно, мы ехали в город. «Парень, ты правда это придумал? Никто не подох? Ты нам должен бутылку, за это такси». – «Да, я должен». – «То есть ты все устроил?» – «Не знаю, не знаю, но если там кто-то рождает, – могли бы помочь».

Ты любил собирать «подснежников», мертвецов, никудашных людей, проступающих из-под снега окоченелыми мордами или руками, все пытающимися что-нибудь жадно схватить...

Витки ржавеющей проволоки, куски кирпичей, потому что это только куски, а не стройматериалы, куски дряни, лежащие на лицах «подснежников», до сих пор стоящие сабельные тальники. Торчащие к небу.

Если я и решил, что нечто постиг, я потерял для будущего; это ощущение потерянности для меня главнее, чем чавканье грязной воды у подножья сапог, эта уверенность, обратившаяся в ничто.

Почему-то мы ходим поверху и никогда не приходим сюда, на поле унылой помойки, что способна раздвинуть свои тальниковые заросли к реке под названием Томь. Я там тоже родился.

Томь гораздо короче, чем Обь. Она берет начало в Кузнецком бассейне, где-то в горах. Легче бы научиться говорить на языке эштинцев, чем языку эгрегоров. Это тоже вполне – диалект.

Ожидание жизни, каждый год ожидание жизни. И ледохода. В провинции привыкаешь хоть что-то, но ждать. Это вредно настолько, что после твоих похорон и недельных запоев (чтобы земля стала пухом) души лезут обратно, или в виде ночных огоньков, или в образе брата из странного старого сна.

Неужели поэтому вспомнил о тальниках? О прибрежном болоте под городским откосом. О потерянном как-то зимою английском ключе от твоей славной хаты. Поищешь – найдешь. Ведь находил же пуговицу от плаща, через несколько дней возвращаясь прежней дорогой. Из гостей. После твоей свадьбы, приятель. Если бы потерял кольцо – то тоже б нашел.

Говорят, что умерший должен идти на огонь, напрямик, не разбирая брода. Ему нужно прорвать ожидание, словно тальник, и идти прямо в пламя, какой бы оно ни имело смысл. Потому что остаться на берегу человеческих границ было б слишком уютно, слишком легко – может, даже трусливо.

Вряд ли мы хоть однажды являли пример героизма в наших детстве и юности. Нас, в общем-то, били. Через несколько лет лица тех сволочей вызывали улыбку – во мне и сейчас нет к ним жалости, шпана да шпана. И ей место именно там, где нашла себе место. Никому не жалко перебитого носа, последних копеек, отнятых на бутылку, жалко собственной трусости. Здесь это уже ни при чем.

Неизвестно, кто как себя поведет во сне. Кто куда ринется после последней атаки на свое отражение в зеркале или в отцовской ладони. Мы в начале войны, что не знает движений и слез, и здесь нет даже мысли, чтобы грудью прикрыть амбразуру, потому что важнее не героизм, а возраст души.

То, что в жизни уже проступало под кожей. Скажем, не свет, а родимое бычье пятно.

Мы легко относились к погостам, почему-то на них не возникает чувства ужаса и покаянья; кладбище – слишком уютное место, тем более – ты показал мне участок для погребенья евреев, зачем-то отметив, что алкоголь здесь не пьют.

Есть люди, что могут передвигаться без паспортов; есть люди, что, как и ты, родились и погибли в эпоху «Битлз», есть люди, но, к счастью, кроме людей есть души, потому что камешки молекулярных цепочек, эта крутая направленность протоплазмы к органической ткани, алге, водянистой траве, странное свойство смерти во имя движенья – слишком похожи на жизнь.

Бумажная голова из детской сказки – если кто-то придет, то непобедимый витязь; вечнозеленый кедр у тебя на могиле – если кто-то придет, то только чтоб помянуть.

Никто не любит болот и забытых помоек; на самом деле никто, кроме нас, не любит и кладбищ – но в воде до сих пор копошится икра земноводных, спокойных, любого века достойных гаденьшей – я чувствую, что состою именно из этой икры, что я всадник, любовник до тех пор, пока не рассыплюсь на мириады кусков, обязательно мокрых и мелких.

Это что-то глядящее тысячей голых зрачков только в небо, что-то рассыпанное, молчаливое; какая-то предыстория, преджизнь, пролог, – а не тревога за душу погибшего друга. Как-нибудь разберется, что делать, какой выбрать ход.

Дешевая тина наших недавних надежд во что-нибудь женское. Как-нибудь разберемся, что делать без них; как-нибудь разберутся, что делать. Теперь – ты мой лучший, увы, собеседник. Я и не хочу говорить ни с кем, кроме тебя.

Я чувствую звон и предательство в каждой душе, даже если она слегка и походит на даму – ты всегда обращался с ними пинками кавалеристских сапог, ты был во многом прав, даже не решаясь ударить взаправду, но действие нужно бы завершить.

Такой королевский удар по фарфоровым свадьбам, по рыданию из темницы, по всем бедным людям, что никогда не приходят смотреть на «поезда», «самолеты», «исчезающие города»...

Кровь животных намного смелее, намного наивней, – пусть опять в Драмтеатре дают интересную пьесу; табуны бегут к Югу, орлы пьют из речек... Это есть ощущение абсолютно свободных детей.

Это лишь ощущение человека в апрельской низине, затопленной грязной водой и моей пустотой – моим полным отсутствием в этих родимых местах, где мы пили когда-то портвейн и бахвалились силой своих беспричинных поступков. Ты снова сделал поступок – и раньше меня.

Слово «поступок» однажды звучало, когда ты затеял жениться. Оно так и звучит, но получилась лишь пьянка; и потом я увидел во сне этот самый откос, это самое, то, что, увы, получилось. Я готов к чему-то подобному. К брату из сна.

Давай перестанем соперничать и щебетать, словно пьяные птички о будущих радужных перьях. Мы с тобой познакомились лет двадцать назад – грешно сообщать, что мы знаем теперь друг о друге, если встретились в памяти возле тщедушной воды.

Я надеюсь, тебе стало тоже плевать на строптивые мелочи наших красивых поступков. Я надеюсь, что мы все же вместе, и больше близки. Что мы бродим по берегу в шуме ночных светляков, что мы шастаем, переливаемся из вечера в утро, что мы вовсе не в курсе – кто еще здесь, а кто уже там.

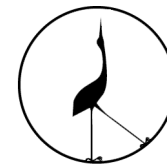
Что мы бродим...

Что...

Помогай мне, дружище, где бы ты ни был, – если я не предаю, поступи, пожалуйста, также. И это не перемирие, это уже и есть мир.

Получился лишь только пролог в ожидании света с любимой реки. Преджизнь в ожидании жизни. Ряска, алга, брожение ила. Это стало уверенностью, что мы увидим противоположный берег. Безусловно, что в будущем поговорим... Именно тет-а-тет. Разумеется, беспристрастно. На любом языке. Ну, хотя бы по азбуке Морзе... Или ты уже знаешь язык падших ангелов? Трудный язык?

Б Е З У М Н Ы Й Р Ы Б А К



ОТ АВТОРА

Летом 2007 года мое совместное пребывание с родными, включая самых близких, сделалось невозможным. Я сделал несколько попыток что-то исправить, понимания не достиг, отчаялся и уехал в далекую чужую страну, где когда-то жил, но обычаев уже не помнил. В самолете бормотал молитвы о спасении любимых, но думал про злой свободный дух, витающий над водой. В аэропорту взял напрокат дряхлый автомобиль и, ориентируясь по вспышкам памяти, добрался к полуночи до любимого озера. Мой высокогорный дом был в запущенном состоянии: забор рухнул, перила у главного входа выломаны с корнем, кто-то оборвал цепь в беседке на качелях, электричество и телефон отключены, грузовик заглох. Чертеж зодиака над головой подсказывал правильность происходящего. Предстоящее хозяйствование должно было отвлечь меня от ненужных мыслей. Я никогда не жил в лесу один, на стоицизм Робинзона Крузо или Генри Дэвида Торо не претендовал, но через пару-тройку дней смог наладить свой быт и даже починил лодку. Озеро буквально кишело рыбой: почему я раньше не знал об этом? Басс, щука, красноперый окунь, форель, рыба-солнце, ночью к берегу подходили сомы. Олени стада лениво уступали мне дорогу в свете фонаря, когда я возвращался с рыбной ловли, по утрам на доке прихорашивалась знакомая выдра, медведь дважды ломал мусорный бак, пока я не сколотил новый из дубовых досок, надежный, как острог. Главной бедой стали тени прошлого, переполнившие жилище, реликвии прежней жизни (иконы, самовары, гитары),

щемящие фотографии счастья, подарки. Призраки очаровательных дачниц настойчиво тревожили мой безгрешный сон. Я должен был бежать воспоминаний и перебрался во флигель, а усадьбу (двухэтажное кирпичное строение на берегу) стал сдавать охотникам и рыбакам на выходные. Это приносило мне достаточный доход, а общение с интернациональными постояльцами учило жизни и деловитости. Мое одиночество оживил регулируемый маскарад из многолетних хасидов, корейских беженцев, болгарских турок, польских пьяниц и американских военных. В свободное время я начал писать стихи, каковых не писал раньше. До этого я редко позволял вкладывать в свое творчество личные обиды, радости, следы отчаяния или надежд. Мне казалось это неприличным. Зачем грузить людей своими печальями? Я был слишком возвышенным, проще сказать – надменным. Незамысловатость бытия привела к простоте и внятности изложения. Эмоции переполняли меня, словно обиженного старшеклассника. Я не пугался надрыва, романса, слезы. Они стали для меня обретением новой степени свободы. Я смаковал свое горькое горе, бесстыдно предаваясь искушению «последней прямоты». Кто еще из издавших виды поэтов может себе такое позволить? Я забыл о существовании «поэзии», о своей ответственности перед ней. Я строчил доносы об одиночестве, будучи уверенным, что откровение должно соседствовать с пошлостью. Почти все, включенное в этот сборник, сочинено прошедшим летом на отдаленном пресноводном озере в чужеземной стране. Неудивительно, что стихи получились о любви, разлуке и родине. Сейчас я смотрю на некоторые из них с недоумением, сомневаясь в авторстве. Никогда не знаешь, как изменится твой голос в зависимости от обстоятельств. Одно очевидно – это было самым счастливым временем в моей жизни.

ОТЧАЯНИЕ

Солнце за годом год
в сердце возводит ад.
Шепчет упрямый рот:
«Ты сам во всем виноват».

В душу вонзив персты,
вытягивает из жил
имя моей звезды:
ты все это заслужил.

Ты все это возжелал
в материнском нутре.
«Молоха обожал,
кушал на серебре».

Ты сам меня полюбил,
когда я любила боль.
Ты ею меня кормил,
отведать теперь изволь.

Торфяниковая вода
течет из ее горстей.
Она глядит в никуда,
на руки берет детей.

Дождь стоит над рекой,
точит столетний лед.
Ты обретишь покой,
когда кто-нибудь умрет.

ПРОКЛЯТИЕ

Отсохнет вымя твоих коров,
отморозит гребень петух певучий,
огонь не согреет уютный кров,
застыв под слезою твоей горячей.
И сердце лишится щедрот огня,
в нем черной дырой прорастет могила.
Все это за то, что ты меня
не спасла, не увидела, не любила.

INDEPENDENCE DAY.07

Сколько в закате солнца земной печали.
Сосны клóняются, как на́ море корабли,
и, мачтами покачнувшись, уходят в дали,
не ожидая встретить в дороге родной земли.

Как беспристрастен ход горящего диска,
ведущий во тьму за Геркулесовы столбы.
Вещая птица молчит. Слышится близко
хохот и трескотня холостой пальбы.

Ежевечернее медленное свиданье.
Заветная служба, мой рыбачий закат.
Почему каждый раз выбирает страданье
того, кто ни в чем был не виноват.

Счастливей меня на этой земле не бывало.
Пора бы стреножить мою молодую пруть.
Хорошо когда много, но легче жить, если мало.
Я не верю, что за все нужно платить.

Мне светло от того, что я ничего не значу,
по сравненью с печалью солнечного пути.
И от этой печали я как-то радостно плачу,
прижав серебристую рыбу к своей груди.

У СИНЕГО МОРЯ

Расскажи о рыбачке, о бросившем невод муже.
О желаньях, исполненных с глупою прямоюй.
Я делал как лучше, но стало хуже.
Не успокоит грешник, и не спасет святой.

Мы жили с тобой у теплого синего моря.
Мы выбирали сами дорогу в рай,
но в радости капля за каплей копилось горе.
Вот и плеснуло теперь через край.

Море мертвой воды затопило уши.
До небес поднимается над головой корма.
Хуже худшего, жизни и смерти хуже.
Мне страшно подумать, что ты сошла с ума.

Я другого не вижу понятного объяснения.
Где та девочка, что со мной жила?
А веленья щучьего и моего хотенья
оказалось мало без твоего тепла.

Так бывает, когда совсем иссякают силы.
И не спросишь совета у встречного на пути.
Здравствуй, милая. Здравствуй, мой сизокрылый.
Бог с тобою. И больше так не шути.

Не до шуток. Зачем мне пустые шутки,
раз над судьбой никогда не подняться ввысь?
Мы так долго стояли в томительном промежутке
и потом стремительно разошлись.

Я готов заблудиться в заливах под вечным льдом.
Согласен сгореть в стогу, никем не разбужен.
Хуже не будет, некуда хуже,
даже если станет хуже потом.

Я считал, что добра от добра не ищут,
но душа теперь словно карман пустой.
Я дарил тебе платья за многие тыщи,
но ты получила счастья рублей на сто.

МОЙ ДОМ

Я живу в бесконечном сыром лесу,
в самом сердце сырых лесов.
Я в сердце своем задавил слезу
и свой дом закрыл на засов.

Я забыл, как поют мои сын и дочь,
как звучит человечья речь.
По ночам в мои ставни колотит дождь
и трещит дровяная печь.

Я сжигаю замшелых бумаг листы,
не взглянув, от кого письмо.
И я не был испуган, узнав черты
старика в глубине трюмо.

Моя лодка, уткнувшись в застывший плес,
не шуршит чешуею рыб.
И под праздник заходит голодный пес,
я все жду его нервный всхлип.

Каждый год забредает со стороны
черный зверь в мой спокойный быт.
В нем таится душа моей злой жены
или друга, что был убит.

Вертикально стоит над равниной дым,
прорастая среди стволов,
словно взглядом отчаянным и пустым
кто-то смотрит поверх голов.

Темный дом мой, зажатый в кольце лесов,
у озерной стоит воды.
В нем не слышно задумчивых голосов.
И к добру не ведут следы.

СПАСЕННЫЕ СОБОЙ

Нательный крестик теребя,
шепчи заветный стих:
«Мой друг, когда спасешь себя,
то ты спасешь других».
Когда во мраке забытья
увидишь ясный сон –
спаси не брата, но себя.
И будет брат спасен.
На самом главном рубеже,
где только смерть видна,
подумай о своей душе.
Она – твоя страна.
Горсть космоса в твоей горсти
теплее воробья,
хранит тебя в ночном пути.
Да, ты спасешь себя.
И в воскресенье Бог придет
в людской холодный хлев.
И горе счастьем возрастет,
в тебе перегорев.
Толпа теней отступит прочь
под шорохи тряпья.
Воскликнет сын, заплачет дочь,
но ты спасешь себя.
Цари забитые плетью,
народы на убой.
Как ненавидимы людьми
спасенные собой.
Пускай витает над водой
свободный, мрачный дух,
ко всем, расставшимся с бедой,
безжалостен и глух.

ЦАРСКИЙ ПОДАРОК

Вдоль дороги деревни, между ними погосты.
Над горбами харчевни отсырелые звезды.

Поднебесные звезды, словно мертвые мыши,
свили теплые гнезда под рогожею крыши.

Оттоскуют полаты, затоскует телега.
Приготовься к расплате за беспечность ночлега.

Станут листья бледнее, обернувшись в овраги.
Краски жизни мутнее взбаламученной браги.

Пересохшие реки, как раскрытые ставни,
на ладонях калеки распростерты камни.

Боль белее березы и беленого храма.
Поистратила слезы моя бедная мама.

В дар жестокой царевне кораблей караваны –
уплывают деревни в неизвестные страны.

Вещий сон как монета проступает из пыли,
как звезда и планета, что когда-то забыли.

Без удачи счастливый, без вины виноватый...
И цветет здесь крапива, и чабрец розоватый.

МОТЫЛЬКИ НА ДОЩАТОМ ПОЛУ

Андрею Таврову

Мотыльки на дощатом полу,
потемневшем и темном в углу,
словно огни на прощальном балу
или кто-то просыпал золу.

Окна закрыты и дверь на замке.
Бесы играют со мною в тоске.
Сколько во тьме ни гадай по руке,
счастье всегда вдалеке.

Падшие стаи расправленных птиц
в бледном Китае растерянных лиц.
Полуживой лабиринт верениц
всех не прочтенных страниц.

Ты босиком между ними идешь,
не испугай их и не потревожь.
В тело вселяется нервная дрожь.
Ты сам на себя не похож.

С медной монеткой, зажатой в горсти,
меткой удачи в тревожном пути.
Пусть не сумеешь душу спасти,
помни, что все впереди.

ЛЮБИМЫЙ ШУТ

Царь кровожадный дружит с ежом,
садит на стол его, делает рожи,
дышит как ежик, и еж дышит тоже,
каждый друг в друга душой погружен.
Я – это ежик, а царь – это он.
Оба от страсти лезут из кожи.

Было бы проще не лезть на рожон,
жить, как и прежде, в мирах параллельных.
Богу молиться, иметь десять жен,
песенок десять пропеть колыбельных
перед отходом к глубокому сну.
Или заместо запоев недельных
взять и разграбить родную страну.

Но самодержец увлекся ежом,
даже ежу это стало понятно.
Еж оставляет зловонные пятна
в ворсе ковров, где он изображен
рядом с властительным другом своим.
Мы сами не ведаем, что мы творим.

Время грозит прорасти мятежом,
вспыхнуть готовым уже безвозвратно,
страшным пожаром, скота падежом,
пастью чумы, что ощерилась жадно,
к горлу приставленным ржавым ножом...
Возгласом, что прозвучит многократно
в космосе невероятно большом.

На гильотину взойти? Ну и ладно.
Просьба: любезнее будьте с ежом.
Пусть я для вас самодур и пижон.
Пусть не мужчина я вовсе, а тряпка.
Главный вопрос государства решен!
Мне тяжела Мономахова шапка!

Да, мой приемник будет ежом
с мордочкой, будто куриная лапка.

Власти верховной священным гужом
наделена мной иголок охапка.
Что ты во тьме озираешься зябко?
Прочь самогонку, несите боржом!

НОЧНАЯ ГРОЗА НАД ОЗЕРОМ

Ты этого хотел, ты это ждал,
Ты ее жаждал, сам того не зная.
Гроза ужасна, как лесоповал
в кривых клыках сторожевого лая.
И ночь, над нами звезды расстилая,
обрушилась в губительный астрал.

Рассеян крик кликуш и зазывал,
поскольку мир исполнен большей страсти,
чем суета любви и воля к власти.
И гордый человек безмерно мал
и беззащитен от лихой напасти.
Что было раньше – жалкий карнавал.

Гроза огромна как лесной пожар,
и как огонь беспечно ненасытна.
И в водяном костре ни зги не видно.
Прозренье, выстрел, солнечный удар,
ниспосланный с небес Господний дар,
который в старости принять постыдно.

Отвесные ряды живых зеркал,
в которых растворилось отраженье,
и дребезжащий льдом девятый вал
сминает легкость быстрого скольженья,
застывшую нелепость положенья
поспешно водрузив на пьедестал.

Вода надменно обняла леса.
И, в нервной дрожи скручивая пальцы
листвы и хвои, не глядит в глаза:
так выпренно знакомятся страдальцы,
чтоб через миг рассориться, расстаться,
не вытащив козырного туза.

Я слышу – надвигается гроза.
Земли и звезд сомкнулись полюса.

Живому не уйти от мрачной жути.
Все медленнее катится слеза,
и сердце бьется воробьем в мазуте,
и слышит с того света голоса.

Вторжение внезапною своей
сравнимо с беспощадным печенегом.
Победа достижимей и верней,
чем меньше обмозгована стратегом.
Тому уж не дожить до лучших дней,
кто не успел обзавестись ковчегом.

Срывая дерн, хватая беглецов
за шиворот, заталкивает в ниши
медвежьих ям их выпавшие грыжи,
выкручивает руки, сносит крыши.
Пронзив столетний дуб, в конце концов,
подходит к дому моему все ближе.

Мелькая в окнах вспышками зарниц,
заглядывает взором незнакомым
в смятенье недописанных страниц.
И горе застывает в горле комом,
когда она с ужимками блудниц
льнет к старым стенам, сгорбившись над домом.

Разряды шарят в озере багром,
неистово проламывая днища
замшелых лодок, бочек с серебром,
словно клюкой копясь в пепелище.
И разрывают, брезгуя добром,
утопленников мрачное кладбище.

Им дела нет до их былых имен,
как дикой ведьме, что чуму пророчит,
смещая ход светил, закон времен,
и жертв своих в лицо признать не хочет,

пока дурацким воплем хриплый кочет
на части не расколется небосклон.

Зачем она была мне так нужна?
Чинил бы сапоги, сплетал бы снасти.
Надеялся, что нежная жена
вернется и смущенно скажет «здрасьте».
Теперь осколки муторного сна
трещат и холодеют в волчьей пасти.

Ты этого хотел, ты это ждал.
Ты ее жаждал, сам того не зная.
Смолкает шум литавров и кимвал.
Промокшая насквозь земля сырая
дымится как разруха и развал.
И что-то шепчет, тихо догорая.

В ГУЛЕ ДОЖДЯ ПРОЛИВНОГО

В гуле дождя проливного,
дождя ночного,
я слышу хохот своих детей,
снова
пускаюсь по коридорам,
как пес от стены до стены,
вслушиваюсь в чужие стоны и сны.

В гуле дождя проливного,
дождя ночного,
все переполнено страхом.
Вымолвить слово
все трудней и труднее,
когда язык
от человеческой речи отвык.

В гуле дождя проливного,
дождя ночного,
спят в ворохах белья льняного,
младенцы спят,
тени к ним не льнут,
сердца их упрятаны в самый уютный кут.

Солнце дышит на них как корова,
солнце – их сердце в гуле дождя ночного.

Разрывая ключья сетей
я иду по следам смеха своих детей.
Вода, а не суша будь нам основа,
коль земля нам не уготована и не готова.

МОСТ

памяти Александра Сумеркина

По ночам хорошо.
Затихают болтливые птицы.
И на черной воде,
словно в гладких больших зеркалах,
в равнодушной тоске
отражаются бледные лица
дальних звезд и планет,
как посуда на мокрых столах.

У живого костра
непонятные греются люди.
Их огромные тени
дрожат на другом берегу.
Я не знаю дороги
среди зачарованной жути,
из дремучего леса
к ним в гости прийти не могу.

Я стою у воды,
не решаясь вернуться обратно,
в дом, где топится печь,
и по стенам тревожные сны
кружат стаями птиц и мелькают,
как яркие пятна,
и летят голосами
из светлой блаженной страны.

Я узнал в голосах
безмятежные песенки сына,
своей маленькой дочери
понял разумную речь.
Между нами лежит
океана седого равнина,
но зияет в боку корабля
безвозвратная течь.

Тихо строится мост
между береговыми мирами.
Но слезятся глаза,
и трагический привкус во рту
подтверждает,
что кто-то идет за пустыми морями,
чтоб возникнуть из тьмы,
если долго глядеть в темноту.

* * *

В печи как за околицей темно,
в сырых дровах слежавшиеся слизи
застыли в неизбывной укоризне.
На черный стог наброшено рядно.
И будто старый гость из новой жизни
озерный воздух стелется в окно,
открытое еще вчерашним утром.
Молчанию положено быть мудрым
при свете непрестанного огня.
К чему оно? Печаль не для меня.
Я режу обод банки жестяной,
стучу ножом по площадке деревянной.
Я к Млечному Пути стою спиной,
как маленький солдатик оловянный.
Какая тишина перед войной,
непрошенной, священной, окаянной,
перед великой северной войной,
что холодит сердца в ночи обманной.
И, может быть, всему виной
моя разлука с женщиной желанной,
прошедшей мимо дома стороной,
чтоб сразу стать царицей чужестранной.

ОСТАВЛЕННЫЕ ГОРОДА

Опоры пронзает мелкая дрожь.
Рушатся своды моста.
Я знаю, что ты меня не спасешь,
в душе твоей пустота.

Безмерность застыла в самой себе
пронзительней мглы могил.
Осталось лишь доверять судьбе,
бежать из последних сил.

На воды ложится рассветный дым,
шумит бесконечный сад.
Не обернись столпом соляным,
обернувшись назад.

Там, плечи смыкая, стоят города,
принадлежавшие нам.
Их взором крутым, как удар кнута,
повергли в ненужный хлам.

Я знаю, что ты не спасешь меня.
Я жду как последний трус,
когда твое сердце, хлебнув огня,
стряхнет неотвязный груз.

Моя нерассказанная вина,
не ввязываясь в разговор,
падет на колени как тишина,
взглянет на меня в упор.

Ты в жаркие угли уронишь нож,
ты станешь густком тепла.
Я верил, что ты меня не спасешь,
чтоб ты меня не спасла.

ВСТРЕЧАЙТЕ ПОЭТА (из староанглийского)

Ни крова, ни пойла, ни девичьей ласки.
Стоптались мои башмаки.
Обломы, подставы, гнилые отмазки,
решетки, глухие замки.

Никто не отважится встретить поэта.
Захлопнута каждая дверь.
Забыли, что это плохая примета.
Не висельник он и не зверь.

Он мирно идет по звериному следу
в пути на закат и рассвет.
Отдай хоть полцарства больному поэту –
поэту пристанища нет.

Вы раньше любили шальные напевы
визжащей волюнки моей.
И я засыпал на груди королевы,
в уютном гнезде соловей.

Любой землепашец, лудильщик и плотник
был нежно со мною знаком.
Любимец народа и дамский угодник,
гулял я всегда под хмельком.

С безоблачным прошлым разорваны нити.
Певец стал разут и раздет.
Спросите его, что угодно спросите.
Он в мире гостил тыщу лет.

Он знает, что будет и помнит, что было,
хоть промысел Божий непрост.
Лишь зеркальце в сердце мерцает уныло,
ловя отражение звезд.

Однажды нам станет тревожно и страшно
от звона монет в кошельке.
На мелкие буквы рассыплется башня,
снега растворятся в песке.

Здесь волчьего не принимают билета,
но раз мои очи светлы,
любезные люди, встречайте поэта.
Скорей накрывайте столы.

И все повторится, как в ласковой сказке,
но воздух исполнен тоски.
Обломы, подставы, гнилые отмазки,
решетки, глухие замки.

ЛЮБОВЬ

Глянешь, и ясно, когда предаст.
Поставлю на десять лет.
Мертвой земли черноземный пласт,
словно стекло на свет.
В мертвой земле прорастет зерно.
Горечь сожми в горсти.
Рано ли, поздно – мне все одно.
Нам с тобой по пути.

НЕЗНАКОМАЯ ЦЕРКОВЬ

Я утром зайду в незнакомую церковь,
в случайную церковь зайду.
Узнаю, какие на свечи расценки,
какие иконы в ходу.

Я свечи расставлю согласно их росту
среди вековой темноты.
Зарницами вспыхнут они по погосту
крылатые, как кресты.

Илье, Михаилу, святому Николе
что в море хранит рыбаков.
Я молча приближусь к Царю на престоле,
почти не стерев каблуков.

Ах, что Ты наделал, Владыка небесный,
какую Ты вычертил цель?
Жена предала меня, друг мой любезный
прилег в земляную постель.

Ты выучил плавать подводную рыбу,
дал птице свободу летать.
За чудо творенья земного спасибо,
спасибо за благодать.

Из милостей щедрых я выбрал случайность,
грошу и алтыну был рад.
Начавшись опять, никогда не кончалась
дорога моя наугад.

Ты видишь конец каждой пыльной дороги,
пути моих верных друзей.

И сам назначаешь простые итоги
души безысходной моей.

И видишь, взглядевшись прозрачно и цепко:
не важно, в какой стороне,
но кто-то зайдет в незнакомую церковь
и свечку поставит по мне.

СКАЗКА НЕ ПРО МЕНЯ

К пьянице ночью приходит зверь, всеми забыт совсем.
Как я оставил открытой дверь, лампу зажег зачем?

Я с давних пор разлюбил гостей, с которыми незнаком.
Он от жены не принес вестей, лакомится молоком.

Я поутру нахожу цветы, подброшенные на порог.
Чую – не миновать беды. Из них я сплету венок.

Землю копну, и наткнусь на клад, горсть золотых монет.
Счастью дурному я был бы рад, только тебя здесь нет.

Я от удачи раскис, устал... Мне больше не до чудес,
если все то, что Господь мне дал, видит лишь темный лес.

Спрячу в тяжелом я сундуке каждый лесной трофей.
Вспомню о славном моем сынке, о доченьке о своей.

Вы для меня плывете вдвоем в лодочке лубяной
майским цветущим бескрайним днем в дальней стране
родной.

И в этой кукушечьей тишине, на троне сырого пня
сказка рассказывается не мне и вовсе не про меня.

Письма лисичьи, подарки фей, шорох ночных шутих...
Если оставишь своих детей, не обретешь чужих.

БИБРАКТ

В белой рубаше приходит из тьмы,
молча садится за стол.
Я для него зажигаю огонь:
передо мною – слепец.
Удивительно длинное лицо,
вертикальное, как свеча,
скулы как сильные костыли,
легкие руки...
Я кормлю его ягодой лесной
из медного дуршлага:
я не знаю ее названия
и мне стыдно его спросить.
Наконец я решаюсь и говорю:
«Как ты меня нашел?»
Я сам тут вчера заблудился...»
Он ухмыляется, будто услышал
самый глупый вопрос на свете.
Разминает ягодки пальцами
обеих рук, зловещие бельма
на бледном лице вспыхивают и гаснут.
Вдруг с необъяснимой злостью
и убедительностью он выкрикивает
непонятное слово «Бибракт»!
И, покачнувшись, наклоняется ко мне через стол.
«Бибракт» – сказал, словно отрезал.
Я испуганно смолкаю,
пока он привычным жестом,
словно надевают очки,
вминает две ягоды черных в свои зрачки,
две ягоды черной черемухи прямо в зрачки...

СВИДАНИЯ С БРАТОМ

Который раз я встречаю брата во сне,
двойника, которому тоже вокруг сорока.
Он умер когда-то в любимой моей стране.
И приходит теперь из темного далека.

Он хотел бы дать мне надежный совет.
Я вижу это по выраженью его лица.
Он изысканно вежлив и хорошо одет.
Он – мой близнец, но не похожий на близнеца.

Он на вид красивей и моложе, чем я.
На том свете нет и в помине земных забот.
У него есть дом, а в доме – его семья,
но мерцает над домом его ледяной небосвод.

Он владелец загробных сокровищ и вещей снов,
рядом с которыми жалок наш ветхий быт.
Он доверяет мне, как лучшему из сынов,
намекая, что в царстве мертвых я не забуду.

Брат знает, что я остался совсем один.
Совершенно один, лишенный любви и дел.
И хотя не дожил до первых своих седин,
когда-то именно этого и хотел.

Он укоризненно смотрит в мои глаза,
словно я перед ним в чем-либо виноват.
Я ушел от людей, как зверь в сырые леса.
Ко мне часто приходит во сне мой брат.

Я не понимаю причины его тоски.
Разве не был я щедр, великодушен, смел?
Я сумел разорвать свое прошлое на куски,
я песню допел, что ранее не допел.

В чем я должен раскаяться в необозримый миг?
Назови перед Всевышним мой главный грех.

Почему ты молчишь? Или ты проглотил язык?
Почему ты едва сдерживаешь свой смех?

Дай мне руку... Тогда прикоснись к руке.
Никто так давно не касался моей руки.
Мы отправимся в путь свободные налегке.
Но он уходит. Я слышу его шаги.

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

Девочка это качается желтый автобус
это качается желтый школьный автобус
в сентябрьских деревьях желтых
автобус качается, год наступает тяжелый
тяжелый год наступает, а осень становится алой
сколько желтых лет остаётся, а ты не знала
ах, катится желтый автобус, год наступает
прощальный прекрасный автобус он убегает
он убегает, и он бежит в деревьях промытых
дождями для нас с тобою ещё неубитых
тяжелый автобус осенью алой и желтой
подберите щегла голубой-голубой кошелкой
подождите воды из водопроводного крана
пока не зачерствеет роза затянется рана.

МОНОЛОГ ДЕВУШКИ (2)

Запахни меня в темень пальто,
встань словно ночь за спиною.
Бредит дневной тишиною
сонной реки полотно.
Утки у берега, как поплавки,
горсть серых уток огромной реки.
Жаль, что с собой нету хлеба.
Мы неподвижны, но так неловки.
Страсть безнадежно нелепа.
Страсть, словно призрак, гуляет в крови,
или как хочешь ее назови.
Я не решусь, я не знаю.
Не принимай моей вечной любви.
Я ее не принимаю.

ПАНГЕЯ

Пусть за веру твою разорвет на куски
тебя стая голодных волков,
но ты видела море, идя сквозь пески,
распростертые до облаков.
Первозданное море ложилось у ног,
обретая торжественный штиль,
чей неведомый сердцу бескрайний порог
не разрезал ни якорь, ни киль.
И, приветствуя встречу в глухой глубине,
усмиряя страданья и гнев,
золотые сады кольхались на дне,
к небесам свои ветви воздев.
И сомножества рыб окружали тебя,
но дружила ты только с одной,
что летела, трубой костяною трубя,
за звездой, как за желтой блесной.
Красота твоя мудрости древней сродни,
непрочтенная правда листа.
В ней свобода и холод ночной полыньи,
горб дельфина и чрево кита.
Говорили на равных с тобой старики,
чародеи с далеких планет,
те, что видели море из-под руки,
над водой преломившийся свет.
Восхождение и гибель арктических рас,
сдвиг осей, размыкание глыб.
Все, что можно испуганно слышать сейчас
от людей, превратившихся в рыб.
Истлевали не знавшие влаги суда,
завершив погребальный обряд,
ибо души могли бы уйти в никуда,
но живут там, где сами хотят.
Но когда лед и пламень отхлынули прочь,
ты оставила Божий народ.
И на гору взбирались мы каждую ночь,
и встречали священный восход.

ЗОЛОТОЙ ВЕК

Пойми, дорогая, что жизнь легка. Накрыты её столы:
на них больше меда и молока, чем черной пивной смолы.

Пусть сердце ударит всего лишь раз и сбросит извечный груз,
преодолеет навет и сглаз, рассыпавшись ниткой бус.

Позволь искушенью коснуться всех, кто чтит человечесью речь,
но если пред Богом есть главный грех, то это согбенность плеч.

Поверь, наши души легки, как шелк, как парус из поволок,
забудь про свалявшийся шерсти клоч, забытый в углу клубок.

Ещё совершенна творенья ткань, где нити одна к одной
лежат, услаждая Господню длань несмятою белизной.

Просторны моря, хороши леса, как птицы быстры корабли,
но нас вынуждает сомкнуть глаза роптанье из-под земли.

В неправедном гневе стреножив бег, наполнив любовь тщетой,
нам мстит за свободу свободный век, ушедший век Золотой.

И страшен его безнадежный зов из дальних гробниц ночных.
Зимую постель из сухих цветов, весной – из цветов живых.

ЕЖИК, ВАЛЬСИРУЮЩИЙ

Ежик, отчаянный сумрачный гном,
голову прячет под серым крылом,
он так ненавидит сегодня Ференца Листа,
что даже я понимаю – дело нечисто.
Под листвою лесною густой
он спрятал от мира ларец золотой,
дукатов и гульденов ларь золотой,
для куклы тряпичной, что стала святой,
он приготовил подарок простой,
затянутый в дымку батиста.
Готичность возвышенна, гневно скалиста.
Здесь поп стал работником, проще – балдой,
подвижником птичьего свиста.
Империя спит, преподобный отец
стучит колотушкой в глухой бубенец.
И вот через щель между досок
от шороха щеток и треска расчесок
дорожкой из соли бежит под венец,
как под лоскутный язык леденец,
заплаканный ежик, лохматый птенец.
Меняют мундиры валеты трюфелей,
любовь – это самый надежный трофей,
в карете из тыквы молитвами фей,
с бутылью, что дышит игристо,
ей лучше б в объятья туриста...
Когда жениху лет за триста.
Она из хорошей красивой семьи,
где в балагане живут на свои,
на кровные, без перебора,
где бог это Бог, а цыганского вора,
представить возможно, но очень нескоро.
Пока не представится в жизни столичной
возможность для куклы тряпичной.
Ей страшно среди арлекинов и рож,
но сердце из тряпки, а муж – просто еж,
зверь дикий, исчадие ада.
И этот пробел, зодиака утрата,

за сладкую музыку наша расплата,
видны в острозубом оскале собрата.
Он ни на что не похож.

БЕЗУМНЫЙ РЫБАК

Юноша с жарким взором, яростным словно сталь,
бредит морским простором, цедит сырую даль.

Темной прямой полоской рот горделиво сжат.
Дикой петлей бесовской блесны над ним визжат.

Ветер раздул волосы, как шутовской колпак.
Все, чем он жил, сбылось, и он человек-рыбак.

Тонкой руке нервной верит тугая снасть.
Кровью гудит венозной коловращения страсть.

Каждую горе-рыбу он поцелует в рот.
Скажет сестре спасибо, бросив в пучину вод.

Долго не перестанут блесны над ним взлетать.
Годы в безвестье канут, смолкнут отец и мать.

Сколько волшебных чудищ позалегло на дне.
Значит, однажды будешь гостем в морской стране.

Или по жизни лживой зыбкий продолжишь путь,
чтобы башкой плешивой лечь на девичью грудь.

Может, услышав всхлипы первых твоих крестин,
у поднебесной рыбы Божий родится сын.

РАССВЕТНОЕ ОЗЕРО

Ты знаешь в болотной воде шевеление трав:
так ястреб глядит на таежного леса движенье.
Течение рек и далеких планет притяженье
ваяет душевные формы, что твой костоправ.
Ты видишь, когда в толчею озорных черепах,
вселяется ужас не выйти из вечного круга.
И можно столетьями рыскать, не встретив друг друга,
плутать, как ладони любовников ищут впотьмах.
На скользких развилках следы поворотливых встреч,
всполохи испуганной пахоты сиюминутной.
Вода у налимьей норы не становится мутной,
глухонемая доверчива чистая речь.
Мы вряд ли заблудимся в этом пугливом лесу,
мы больше привязаны к тяжести тела Урана.
Озера всего лишь младенцы, дрожа на весу,
лежат словно лужи у хладной груди океана.
Всемирный потоп зацветает как рясковый рай.
Замшелая в окислах меди царева корона,
вбирает в себя каждый отблеск огня небосклона
и тлеет ожившею лавой, плеснув через край.
И озеро смотрит, большие глазницы продрав,
как свет раздирает космический длинный рукав.

У ИНДЕЙСКОЙ ВОДЫ

Сентябрь строен темными стволами,
вознесшими туман по берегам,
но небеса с пустыми облаками
всё выше поднимаются над нами
и через миг мы спим в воздушной яме,
озерным волнам вторя по слогам.

Лежачим колыбельным валунам,
как выводку зверей большого роста,
присуще отвращение к волнам,
навязчивым сердечным болтунам,
им ближе мудрость древнего погоста.
Но эти чувства незнакомы нам.

Мы легковесны, словно хвойный хлам,
упавший тихим путникам под ноги.
Людей здесь нет. На сердце нет тревоги,
привыкшей придавать мирским делам
крупницу смысла с солью пополам.
Мы влюблены. И, значит, одиноки.

Людей здесь нет. Ушли в небытие.
Их души потеряли любопытство.
Даря лесам смирение свое,
спокойно подойдут воды напиться,
оставив на песке ладошку птицы,
или из сказки детское копытце.

Но в ночь под осторожный плеск волны
сердечко, словно мышь в норе, скребется.
На цыпочках к нам озеро крадется,
воскресли его страшные сыны.
Останемся же вечно влюблены,
когда на крик свиный
стая отзовется...

И в дверь разбитую к нам полчище ворвется
под грохот объявления войны.

КАК ТЫ ТАМ?

Бывает, нахлынет такая тоска: откуда только взялась?
Станет нелепая смерть близка, нелепость – слепая власть.

Безмолвье идет за мной по пятам пугливой волной огня.
Спроси, дорогая, ну как ты там? Как ты там без меня?

Вспомнил ли юности хриплый стиль, вдохнув синевы чужбин?
Время недвижно как мертвый штиль, если живешь один.

Оставит надежды скупой Адам, забудет свою Лилит.
Спроси, моя радость, ну как ты там, какой тебя Бог хранит?

Легка ли добыча, богат улов? Сладки ли в садах плоды?
Надолго ль получит уют и кров пришедшая из темноты?

Поймет ли, что твой равнодушный храм лишь жалкая западня?
Спроси, золотая, ну как ты там, как ты там без меня?

Удача сгубила нас на корню, за пазухой ни гроша.
Прижалась к кладбищенскому плетню нищенкою душа.

Камни в колодце, как в горле ком. В печке тяжелый дым.
Не помышляй ни о чем другом, навеки став молодым.

И не вопрошай меня, пьяный в хлам, свободу свою кляня:
Скажи, мое счастье, ну как ты там, как ты там без меня?

ДВОЙНИКИ ГЕРАКЛА

Забудем навсегда высокий слог,
которым мы себя привычно лечим.
Любить людей способен только Бог,
и нам с тобой Ему ответить нечем.
Пуста и бесполезна красота,
стыдящаяся права воплощенья.
И невозможность скорого прощенья
черна, как черной пахоты черта.
В пустынных снах седеют мертвецы:
им не остаться вечно молодыми.
Мы продолжаем путь совместно с ними,
мы в этом мире общие жильцы.
Мы презираем благодарный труд.
И небо отвечает нам презреньем.
Мы силой гравитации и треньем
гордимся, словно эту жизнь вернут.
Я не уверовал в неповторимость
своей души, но это торжество
сомнительно и вычурно, как мнимость
любви и смерти, сущего всего.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Мне тоже в это верится с трудом,
но если нам проститься не успеть,
я буду приходить в наш старый дом,
и тихо половицами скрипеть.

Подарки... фотографии... часы,
которые стоят с далеких пор.
На скатерть я не уроню слезы.
Я гость в родимом доме или вор?

Предметы – это наш земной удел,
но как узнать, насколько дорогим
окажется одно из бранных тел,
когда ты с телом разлучен своим.

Я в спальне детей не разбужу,
и, нежное молчание храня,
в их лица до рассвета погляжу,
так смотрят на мерцание огня.

Оставив в жизни сказочно другой
обид своих постыдное жнивье,
я навсегда забуду непокой
и месть за равнодушие твое.

Ушедшее не стоит хоронить,
размыты очертания тюрьмы.
Того, кто не осмелился любить,
ждет худшее, чем призраки из тьмы.

Плохое мы оставим на потом.
Не знаю, чья душа сейчас не спит,
но кто-то входит в мой пустынный дом
и тихо половицами скрипит.

БЛУДНЫЙ СЫН

За ночь опутала ноги коня тьмой паутина.
Матушка, как теперь встретишь меня, блудного сына?

Тяжкую голову конь опустил, замер он в стойле.
Где я вчера веселился-гостил? Друг это мой ли?

Что не оставил я, медью звеня, пьяного круга?
Чтобы друзья полюбили меня, предал я друга.

Значит, иди мне с сумой за спиной странником пешим.
В темном лесу под холодной луной прятаться лешим.

Медленно катится синий клубок дальше и дальше.
Я бы забыл тебя, если бы смог ввериться фальши.

Я б разгадал неразгаданный стих дней чередую.
Сделалась кровушка в жилах моих мутной водою.

Я б заговаривал черта в аду, шарил на флейте.
Если на землю лицом упаду, то пожалейте.

Дальней дорогой до Судного дня стынет равнина.
Кто на пороге встретит меня, блудного сына?

РЫЖИЙ ЮДА

1.

Тридцать стекол разноцветных,
тридцать камушков речных,
умираний незаметных,
воскресений выходных,
как заплат на балахоне
басурманского шута,
что не скрылся от погони
воспарившего кнута,
и теперь таскает воду
в размалеванном во рту
на великую вершину,
неземную высоту.

2.

Тридцать витязей прекрасных
в золотой заре горят,
звуки возгласов напрасных
сердце жалят и бодрят,
им, неистовым, нет дела
до тяжелого житья,
зуда яблочного тела,
предвенечного нитья,
они плачут словно волки,
разевая жадно пасть, –
и уже в ушко иголки
красной ниткой не попасть.

3.

Рыжий Юда беззаконный,
он был в пятницу зачат,
под окном моим стучится
ровно тридцать раз подряд,

чтобы я открыл калитку
по приказу рыжих чар,
разорвал на шее нитку,
принял солнечный удар –
тридцать лет как на ладони,
мне наплакал рыжий кот,
и взошел на небосклоне
целины пчелиных сот.

ТРИТОН

Она:

Руки твои как морская пена,
белые как полотно,
нежно обнимут мои колена
и унесут на дно.
Камнем ко дну пойдет грех мой тяжкий,
мой непосильный грех,
а я родилась в лебяжьей рубашке,
легкой, как детский смех.

Он:

Вместе оставим твой мир ненужный,
вкрадчивую страну.
Душу твою, талисман жемчужный,
в раковину замкну.
Песни скитания бесполезны,
сотканы льном простым.
Пойдем же туда, где из водной бездны
поднимается дым.

Она:

Нет, я хочу умереть как птицы,
упавшие на корму.
Возьми меня, но горсть чечевицы
я с собою возьму.
Сердце мое упадет как камень,
и порастет травой.
Будет храниться во тьме веками
грех безмянный твой.

ПЕСНЯ

Брат женился на сестре,
ее на руки поднял,
но на свадьбе у него,
ах – никто не погулял.

А на свадьбе у него
даже не было родни.
Порешили, что оне
век останутся одни.

Век останутся во тьме
в неприкаянном доме,
птицы-голуби в тюрьме
по согласью своему.

Угощения всего
ковш воды да черствый жмых.
Счастью нужно одного –
чтобы не было чужих.

Брат женился на сестре,
протянул сестре кольцо,
но он глаз поднять не смог
на покорное лицо.

Вот печальный разговор
про сиротскую любовь...
Несмываемый позор.
Неразбавленная кровь.

МЕТЕЛЬ

Помнишь, как мы заблудились в пурге,
в темном пути без опор и обочин.
Ветер отвесил нам триста пощечин,
триста пощечин по каждой щеке.
Выбор судьбы удивительно точен:
двое влюбленных в бескрайней тайге.

Тридцать монет у меня в кошельке
нас не избавили от напасти.
За каждый день неизменного счастья,
хлеб и вино, за огонь в очаге
нас наказало ночное ненастье.
Помнишь, как мы заблудились в пурге?

Острые звезды, стекло и слюда,
хищные лапы замерзнувшей хвои,
снежные гарпии в радостном вое,
нас окружили, собравшись сюда.
Не омраченное злобной молвою,
детское счастье не знает стыда.

Мертвого моря живая вода,
сдавленных недр чужеземная сила,
солью летящею нас ослепила,
сбив с панталыку ударом кнута.
В темном пути мы мечтали уныло,
что это – единственная беда.

Шли по прилеску, не зная, куда
эта метель нас к рассвету забросит,
если косою под корень не скосит,
не вознесет на распяты креста...
Видишь, снегами по крышу заносит
веси родимые и города.

Мы бормотали в тревожную тьму,
предвосхищая души обнищанье,

глупые клятвы и обещанья,
все, что еще оставалось уму.
Только скорее бы встретить корчму,
в желтом, волшебном, табачном дыму.

Кругом вполнеба смыкались леса,
вниз опустив ледяное забрало.
Ты возрождалась и ты умирала,
вспыхнувши, тотчас сходила с лица,
я выбирал, но ты не выбирала,
твердо решившись идти до конца.

Этой дороги не будет конца,
падшей в пустынном краю бесконечном,
где в напряжении жестко-сердечном
снег пережевывает сердца.
Нам бы дойти под костром предвечным
вплоть до последнего в небе крыльца.

Нам бы до дома дойти к Рождеству,
об угощении не беспокоясь,
кукле атласный развязывать пояс,
сыпать в постели миндаль и халву.
Так естество говорит веществу,
так покоряют Северный полюс.

Тычась клюкой от межи до межи,
мы прижимались к медвежьим сугробам,
скованы вязким могильным ознобом,
словно свобода в сплетениях лжи.
Сонным глазам разданы миражи,
ужас – еще не рожавшим утробам.

Скошенный завистью к детской любви,
шатким забором щетинился ельник,
за каждым деревом мрачный отшельник
мерно шептал заклинанья свои,

комкал тюльпаны руками в крови,
рвал на груди сыромятный ошейник.

Жители варварской, зимней страны,
мы привыкали к холмам и оврагам,
будущим нетерпеливо больны
(только не дальше, чем следующим шагом)...
Господи, Ты помоги до весны
с пьянки добраться веселым гулякам.

Помнишь, как мы заблудились в пурге.
Как мы друг друга в то время любили.
Самозабвенны, тщеславны, мы были
с гибелью близкой накоротке.
Карты легли нам как дальние мили:
двое влюбленных в бескрайней тайге.

* * *

Здравствуй, обещанная заря.
Душу мою возьми.
Страшной поцелуя нетопыря
мне разговор с людьми.
Тенью брожу я среди людей,
горестно хмурю лоб.
Был разговорчив как лиходея,
сволочь, надменный жлоб.
Болью отмечен мой путь во сне,
горем во тьме ночной.
Не с кем теперь поделиться мне
желчью, слезой, слюной.
Нам просто не о чем говорить.
Все мы – вселенский сброд...
Но что еще делать, как не любить
каждого, кто умрет?
Что еще делать, как не торопить
необозримый час,
раз небо осмелилось полюбить
лишь одного из нас?

* * *

Нету мне места на этой земле,
в белой столице и черном селе.
Мне б затеряться подкидышем грязным
у бабы дурной в подоле.

Мне бы бежать за моря, за леса,
всех, кто с любовью смотрит в глаза.
Нет больше сил для взаимности доброй,
на камень находит коса.

Зверем мне видится Божия тварь.
Жалует царь, да не жалует псарь.
С книгой судьбы на глаголице темной
шепчется древний букварь.

Юной Вестане, богине весны
жертвы небесные принесены.
Хуже тюрьмы и бродяжьей котомки
вой сумасшедшей жены.

Нет, никогда ни крестом, ни перстом
ты не вернешь меня в горестный дом.
Все мои добрые воспоминанья
на смерть забиты кнутом.

От благодати немеет рука,
как от пощечин твердеет щека.
Взглядом сухим по бескрайнему полю
я поджигаю стога.

Нету мне места на этой земле.
Ни на подводе, ни в жестком седле.
Ни на широком пиру поминальном,
ни в сладкозвучной петле.

* * *

Мы расслышали голос воды.
Словоблудье разбили на слоги.
Бычьей кровью политы сады,
белым сахаром крыты дороги.
Но истоптанные пороги
заметают любые следы.
Так уходит неспешный беглец,
что ворует, но матери дарит
благодущье домашних сердец.
Сострадание сердце не старит.
Если колокол трижды ударит,
то раскается каждый подлец.
Он вздохнет, обернется назад.
Голося, побредет по проселку,
будет сватать березу и елку,
перед каждой теперь виноват.
Дали зубы свободному волку,
да волчиха загрызла волчат.
А гулять бы ему по степи
и не слушать кладбищенский причет.
Тяжкий грохот дворовой цепи...
Все течет и выходит на вычет.
Загадай, что в великой Оби
твой утопленник дождик накличет.

* * *

Раскрученный потоком лесосплав
влетает на бескрайние пороги.
С речных откосов рушатся остроги,
слетают петли с сумрачных застав.
И за собой полжизни навестав,
молитва рассыпается на слоги.

Твой лик, зажатый в кованый аграф,
беленый лоб царевны-недотроги,
а безделушек словно у сороки...
Я улыбнусь в заплаканный рукав.
Чем же могли себя украсить боги,
на счастье не имеющие прав?

ЖЕНЩИНА

Жадность увядания и жалость
к телу, что теряет свою власть
в мире сильных – роковая шалость,
напоследок яростная страсть.
В сердце негде яблоку упасть,
но оно все помнит: больно сжалось.
Где же ты, спасительная малость...
Нам любовь не счастье, а напасть,
перебор бредового желанья
получить, заимствовать, украсть...
На костре не будет оправданья:
твоя жизнь во мглу не сорвалась,
в мире вечной жалобой осталась,
лишь душа в испуге вознеслась.

НАСЛЕДНИК

Чтобы ты родила,
разграбили десять гробниц,
сожгли разноцветные косы
великих блудниц,
заключили временный мир с силами зла.
Мы сделали все,
чтобы ты родила.

В последнем кургане
был найден наш первый царь,
в ладье обгорелой
стоял вожделенный ларь,
в нем государев пояс с остатком тепла.
Мы сделали все,
чтобы ты родила.

Это наша земля,
и на этой промерзлой земле
мы охватили два мира
в священной петле,
смешались ржаная мука и сырая зола.
Мы сделали все,
чтобы ты родила.

И в ночь, когда
оголтело поют соловьи,
мы поясом медным
опутали бедра твои,
одеждою бога, сожженного нами дотла.
Мы сделали все,
чтобы ты родила.

Один за другим,
в обряде длинных ножей,
в шатер твой вошли
вереницы лучших мужей,

чтобы их сосчитать, нет на свете числа.
Мы сделали все,
чтобы ты родила.

Народ беспощадный,
кто же теперь мой отец,
ты, или в шапке собольей
звездный мертвец?
Земля стала плоской,
а раньше была кругла.
Она сделала все,
чтобы ты родила.

ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

1.

Знают сера и ртуть, как им золото зачать,
чтобы бедной русской дуре вечно плакать и кричать.

Знает солнце над землей, вспыхнув ветхим абажуром,
как смертельную змеей сеновал грозит амурам.

Но разлука – это шорох неживого полотна.
Стынет на морских просторах город синего вина.

И в окне стоит луна. И отсыревает порох.

2.

Знает Топ и знает Топ, как кистень свистит по небу,
как он ищет верный лоб милосердию на потребу.

Знают молнии раскаты, как сомненья разрешить,
как стараются цикады общим голосом служить.

Из могилы под венец: если надо, значит надо,
до предельного распада, для журнального расклада,

шутки ради, наконец, проглотите леденец.

3.

Знают сера и ртуть, знают солнце и луна,
знают сабля и копьё, жизнь, зачем ты мне дана...

Ах, зачем ты, ё моё...

* * *

Я так взволнована, когда с тобой говорю.
Вот уронила платок, смяла цветок.
Мое дело движется к сентябрю,
будь чувствительнее чуток.
Не думай, что только ты один одиноко.
Хочешь, что-нибудь подарю?
Корабль, замо́к, вина глоток?
Отправить тебя рабом на галерах?
При твоих Астартах, нагих Венерах,
ядовитой гадюкой свернусь в клубок.
Ты обнаглел? Почему я так взволнована?
Никого на свете я не люблю.
Но тебя, дорогой, не пущу в петлю.
Я тобой прилюдно была целована.
Почему я волнуюсь, когда с тобой говорю?
Не думай, что о тебе. Мы заболели оба.
До первого снега, как до первого гроба,
я тебя, единственного, благодарю.

* * *

Господи, неужто, Ты,
меня обманул, обокрал
надеждой на стылые эти кусты,
на снег, в котором признал
тот город, в котором родился. На дом,
в который гляжу с непосильным трудом.
На лица, где спит глубина молока,
ключицы, которым любовь нелегка.
На дух, потерявший оплот.
На взгляд, что скользя к высоте потолка
приоткрывает ваш рот.

* * *

не разборки не разговоры
а – голосовые связки
на пределе когда так скоро
быть позору самой развязке
это вроде бы как работа
дураками под фонарями
называется день суббота
все они грешат ноябрями
ноябрями приходит холод
на пределе служить позору
в одиночку а лучше хором
голой мордой впинать к забору
дураками как бы работа
до развязки под фонарями
сорок лет как одна суббота
я хочу курить хочу к маме.

ПРАЗДНИК

Чернокнижнику хромому пьяный поп
шмякнет яблоком моченым в хмурый лоб.
Загудит в башке набат до сжатых скул,
а по ярмарке пройдет голодный гул.

С образцовых изразцовых медных плах
на лицо метла сметает хлебный прах.
Как по палубе гуляешь на торгах,
слабо держишься на вдавленных ногах.

У цыганки ручка белая чиста,
вся в прожилках от капустного листа.
И за пазухой торчит атласный туз,
он крапленый и соленый был на вкус.

Хмырь в кафтане кумачовом ловит блох,
на цепи злаченной пляшет скоморох:
из заплатачного яркого тряпья
сшил штаны для воровского воробья.

Облака хранят округлость куполов,
ни единого яйца не расколов,
расступаясь под холодной синевой,
животворной, живодерной, неживой.

В царской проруби затопленный багром
станешь братом казнокрадом осетром
ляжешь в тину под сырой дубовый брус,
выгнешь спину и прикусишь гибкий ус.

Как на блюде длинной мордой костяной
тыкнешь в груди милой женщины родной.
Встрепенулся, распрямился и затих,
лишь увидел черный крестик между них.

ЦЫГАНСКИЙ ХЛЕБ

В муке копошась, требуху вороша,
чернавка, пропащая в небе душа,
ты вся, словно вящая пища.
С похмелья дареная тыща.
В ней жертвенный дар пепелища.
В ней тайного гроба тяжелый озноб
прочней поцелуя в надуренный лоб,
знакомый с тоской казнокрада.
Ей многого надо, но то, что не надо,
утоплено рылом в сугроб.

Морозные ночи, глухие дворы,
к утру петухами скрипят топоры,
железо смелеет под утро.
Проснуться и чувствовать мрак конуры,
как в пасти дворцов польхают костры,
пургой возмечается пудра.

Нам дарят четыре тяжелых свечи,
для Матери Божьей простые харчи.
Вот стало теплей и светлее.
Какие волхвы, чернецы, дуралеи
ежа достают из горячей печи,
горящего, словно светила лучи?

Наш солнечный хлеб, безымянный изъян,
волшба недоумков, забава крестьян,
соперник орла и лисицы...
Но еж забирает прекрасные лица,
в крапиву, шалфей и бурьян.
Он индевеет, чудачит и снится.

Накрыты столы, да забыты углы.
Колодцами стали хладны подолы.
Рука хочет жить в диком стаде.
Какого же черта, чьей милости ради,

чавелы ведут свой обряд круговой,
склоняясь над мертвым ежом головой?

Он солнце, что спит у меня на столе.
Не будет царя, при другом короле –
нас вместе снесут на кладбище:
всмотришь в эти злые глазища.
Увидь партитуру в зверином числе.
Корону ежа на усталом челе.
И нас, уходящих, как песня во мгле,
уже по колено в золе.

ЖЕНИХ

Под сенью торжественных елок
солдатиком ежась в углу,
болванчик, лунатик, астролог,
монах на волшебном балу.

Мороз прижимается к двери,
неспешно толкая плечом.
Он право свое в полной мере
имеет на сладостный дом.

Он молод, угрюм, равнодушен
к живому роению любви.
Под спудом тяжелых подушек
зарыты гостинцы твои.

Мы спели хвалу пешеходам,
бредущим по пояс в снегу,
горящим подсолнечным всходам,
закутанным в тьму и пургу.

И в полночь к невесте прожженной
в светелку ворвался жених,
непрощеный, умалишенный,
с кульками конфет ледяных.

* * *

В темных стволах прозябание смерти,
снежные шорохи сгорбленной шерсти,
влажный румянец на женских щеках
красным букетом, зажатым в руках.
Было бы хохоту юной беглянке:
казнь столица грозит самозванке.
Что ты, возница, застыл на весу?
Дай прогуляться царице в лесу.
Там бубенцы разыгрались по елкам,
пахнет младенцем, украденным волком,
медом в берлоге, могилой в норе,
ярким костром на прощальной заре.

ПРОСТАЯ СОБАКА ХЕЛЬВИГА

Случается ночь, когда к дому подходит пес.
На груди его роза, в глазах беготня колес.
Он рыжий, он добрый, он умирает от слез.

Он кто-то из забытых тобой мертвецов,
для которых в сердце уже не осталось слов...
И ты не знаешь, оставить ли дверь открытой.
Из двух неубитых прав голодный и битый.
И ты впускаешь его, ибо он таков.

Он останавливается на ночлег
кратковременно, словно апрельский снег,
или с крыши крыльцо завалило снегом.
Ему под голову я положу десять своих рубаш,
забуду свой страх.
Я на время жизнь свою подарю калекам.

Здравствуй, приятель, как ты лохмат!
Ты прекрасен как в рыжей тайге закат.
Хорошо, когда и на том свете у тебя есть брат.

Ты посланник,
Иль просто по миру блуждающий странник?
А может, судьба преподнесла мне новую блажь?
Спросим проще: ты меня предашь?

Оба мы звери, мы поняли и молчим.
Мы до утра не заплачем, не закричим.
Мы помолчим с этим застенчивым человеком.

ПЕСНЯ

В граде колокол ударит,
звон грабителя догонит.
Он кровавый нож уронит,
побледнеет его лик.
Он на ярмарку вернется,
нищим золото раздарит.
А для матушки старухи –
красный камень сердолик.

Не печалься, что дорога
тебя в даль уже не манит.
Перепуганные кони
замутили твой родник.
Раз любовь тебя догонит,
сердце бедное поранит.
А на сердце ляжет камень –
красный камень сердолик.

За купеческим обозом,
по бескрайнему по полю
шли мы, сдерживая слезы,
прикусивши свой язык,
а в ларце у басурмана
расцветал пышнее розы,
и горел зарей победной
красный камень сердолик.

Закричит ночная птица –
лучше б вымолвила слово.
Я бы в нем услышал клятву,
я б к нему душой приник.
Что за год – уже не вспомню –
от рождения Христова,
лишь в глазах горит-сияет
красный камень сердолик.

ОГНЕПОКЛОННИК

Каждый день я приношу жертвы
оттянуть момент людской смерти.
Разберу забор, сожгу жерди
для небесной золотой тверди.

В каждом пламени кусок солнца,
обещание плодов урожая,
души предков, черный прах сердца
ворошу я и вопрошаю.

Вторят пению огнем жарким
книга Мертвых, Беовульф, Авеста.
Пусть любви нашей горят подарки,
чтобы новым оставалось места.

Семь костров разведено на кручах
сохранить покой твоих хижин,
семь дубов я повалил могучих,
чтоб Владыка мой был не обижен.

Из себя я изгоняю бесов,
наступаю в темноте на грабли.
И осокою ладонь порезав,
я соленые слизнул с нее капли.

Я одежду рву, бью посуду,
наш любимый раздолбал чайник.
Накопительство сродни блуду,
мне всевышний говорит Начальник.

В плоскодонку я сложил болезни:
скудоумие, гангрену, оспу...
Пусть плывут они к такой-то бездне,
по реке прямо в открытый космос.

И воде я возвращаю рыбу,
что сгорбатившись удил часами.

Я и сам готов взойти на дыбу
с незавязанными глазами.

Был народ такой, звались кимры.
Все награбленное – сжигали.
Скоро я, как и они, вымру.
Буду пьянствовать в их Валгалле.

Ну а ты живи судьбой женской,
с кем захочешь в непростой жизни.
И себя, не принося в жертву,
вой вакханкой на моей тризне.

НИТКА

Любимая, не пишите письма.
Не посылайте курортную мне открытку.
Я жив и здоров. Не сошел с ума.
Пришлите короткую шерстяную нитку.

Я хочу повязать ее на левой руке.
Двадцать лет назад, в суматошной драке
я выбил сустав на Катунь-реке.
Завывали сирены, на горе брехали собаки.

Черт знает, в какой свалке, в стране какой
рука моя в прорубь холодную окунулась.
Пощечин не бьют, родная, левой рукой,
но ожидание затянулось.

Мне сказала гадалка двадцать лет назад:
повяжи на запястье простую нитку.
И потом ты достроишь небесный град,
развернешь его схему по древнему свитку.

Я просил о блажи этой, о чепухе
многих женщин. Я лбом им стучал в калитку,
но взамен получал любовь, от ее избытка
готов на петушиной гадать требухе.

Любимая, пришлите мне шерстяную нитку.
Пожалуйста, обыкновенную нитку.
Повторяюсь, родная, всего лишь нитку.
Я на ней не повешусь. Я не умру в грехе.

Не вяжите мне шапок и пуховых рукавиц,
не приучайте к колдовскому напитку.
Я хочу стать одной из окольцованных птиц,
надевшей на лапу твою шерстяную нитку.

Любимая, мне больше не нужно ничего.
У меня слишком просто устроено счастье.

Подвенечная радуга, последнее торжество.
И красная нитка на левом моем запястье.

ПАВЛИН

Сложи мне костер, надежнее, чем острог,
сколоченный на морозе январским днем.
За такой урожай государь не берет оброк,
здесь крепость моя и дом.

Из деревень не собирай трудовой народ,
кому надо, сам на огонь придёт.
Топорами сверкает иней седых бород,
и ветрами изодран широкий в улыбке рот.

Гляжу на людей, а вижу в снегу погост.
У девки молоденькой на дорогом платке
вышит павлин, распростерший узорный хвост
на Иордане, иудейской реке.

Вот она радость, которой никто не ждал,
лучший подарок в день моих именин.
Яркий, как многоцветный резной кристалл,
райские перья в толпе распустил павлин.

На Иордане, непостижимо глухой реке,
на одном берегу стоит поп, на другом – раввин.
Купает крылья свои в золотом песке
голубь запретного мира, чудной павлин.

Зачем ты, родная, сегодня пришла сюда?
Покрасоваться? Ни у кого нет таких платков.
В просветах сосен тлеет моя звезда,
а сосны стоят рядами до облаков.

Алмазные горы, коралловые леса...
Сколько чудес я оставлю на этой земле?
Чудесней, чем все чужеземные чудеса,
это то, что где-то люди живут в тепле.

Сложи мне костер, уютный, как мамкин дом,
горячий, как овчинный тулуп отца.

Великие реки скованы крепким льдом,
в народе молчат отмороженные сердца.

И мир согревает только большой павлин,
укутавший девичьи косы в цветной узор.
Павлин, расколи неподвижность угрюмых льдин,
распахни бескрайних лесов зеленый простор.

И ты, моя девочка, вспомни крещенский день,
выйди на берег навстречу моей звезде.
Копны русых волос для меня раздень
и отпусти платок по талой воде.

НОВОРОЖДЕННЫЙ

Светла колыбель очага ночного, младенческая душа.
Великому роду дана основа. Теплится, чуть дыша.

Герои склонились над ним гурьбою, пленники нежных чар.
Ветер стучит ледяной крупью, клубится морозный пар.

Шепот змеиный сквозит в поленьях под грубою берестой.
Родитель счастливый, ты на коленях десять ночей простой.

Ребенок играет с сухой золою, пьет молоко огня.
К печке чугунной, как к аналю, прильнула его родня.

Вглядитесь в него, дорогие гости, какой у меня сынок:
сильнее и ярче, чем на погосте блуждающий огонек.

Кафтаны вывернуты наизнанку, лежанки скрипят овсом.
Отцу святому мы спозаранку в церковь его снесем.

Лицо отразится в бадье с водою, чужой незнакомый лик.
Крестик с цепочкою золотою осветит весь мир на миг.

Батюшка чадо возьмет упрямо, расскажет молитву вслух,
когда на маковке белого храма красный вспыхнет петух.

МОГИЛА

Я стоял на краю пустой могилы.
Был отверстой дырой мой открытый рот.
Я кричал – и земля дарила мне силы.
Я знал, она бы меня отпустила,
если б пришел мой черед.

Я кричал, как кричат душевнобольные,
что не знают, чего хотят.
Омуты солнца – дымы степные
в душах своих топили котят.
Я кричал, как кричат душевнобольные,
когда видят, как птицы летят.

Я был должен посыпать голову пеплом,
опустить долу глаза,
но по сравненью с июльским пеклом,
стучащим в виски роковым напевом, –
было так, что хуже нельзя.

Ни плача, ни песни, ни зрелого чувства
во мне не было. Зверь на цепи,
я кричал, словно увидел чудо:
яму, вырытую посередине степи.
Почему она здесь? Откуда?
Я чудо увидел, увидел чудо. Посмотри на него, полюби!

Ты любил когда-то родную маму,
никого нет ее родней.
По утрам вы ходили к белому храму,
вечерами к тому, что черней.

Так черемухи цвет превращается в грозди.
Так сбывается слово «потом».
И желанные, дорогие гости
подожгли твой уютный дом.

Три дня я мчался с письмом секретным,
на четвертый – загнал коня.
Не повезло мне с попутным ветром.
Час за часом как метр за метром,
я продвигался к лучам рассветным,
имя Господне кляня.
Степь опасней, чем западня.

Почему же в крике высокомерном,
заглушающем грай воронья,
я считал доказательством достоверным
простоту воровства и вранья?
Нет, могила – не для меня...
Она для кого-то другого...
И он вот-вот подойдет...
И его я зову, составляя слово,
доходя до хрипящих ног.
Я жду товарища на угощенье,
что во все двери вхож.
Я охраняю его помещенье,
я за пазухой прячу нож.

Я забыл, кто меня в путь отправил.
В какие края? Зачем?
В неизвестности я свой дом оставил,
на черную яму в игре без правил
променял опрятный Эдем.

По утрам мы ходили до белого храма,
вечерами под темный свод.
Теперь ни я, ни любезная мама
пути туда не найдет.

Опустеет закатная панорама,
потускнеет степной восход,
обрушится неба оплот...
И останется мрачная яма.

Я кричал, как кричат душевнобольные,
следа перелеты птиц.
В глазах моих мельницы ветряные
размывались вращеньем спиц.
Завершаясь, наши пути земные,
сквозили разрывами лиц.

Сквозь арматуру небесного града,
час, лишенный привычных черт,
приближается медленно, как утрата,
как души моей мрачный смерд,
когда, наконец, я пойму, что мне надо,
и вскрыю чужой конверт...

Я достану письмо, позабыв про совесть,
про суровый солдатский долг.
С никудышным прошлым своим рассорясь,
обреченно приму подлог.
Сатанинские литеры дланью твердой
порасставлены в нем впритык.
И кривляется там многоликой мордой
беспольный чужой язык.

Несусветные басни времен Хаммурапи,
Балтасара и Хатшапсут
раскрываются в тысячелетнем храпе,
мерзкой тайной о каждом былом сатрапе,
чешуей небес на мохнатой лапе.
И в безвестность тебя несут.

От сотворенья, до дней последних,
за пределом житейских схем,
оказалось, ты был всего лишь посредник
между этим миром и тем.

Шум рая, глухие зарницы ада –
все было предрешено.
И луч рассвета, и свет заката,
свобода моя и моя засада,
и я, поднимающий меч на брата,
сольюсь с ним в одно пятно.

В центре пустыни я встретил чудо,
не дворец, не горящий куст.
Дан мне знак, доводящий меня до зуда,
его смысл безнадежно пуст...
Приходит пора, заглотив отваги,
смиренье приняв на грудь,
задумчиво скомкать листок бумаги
и в пропасть его швырнуть.
И правда моя безвозвратно канет
в бесцельной ночной дали,
столетия лязгнут семью замками.
И эхо замрет, когда ляжет камень
на самое сердце земли.

СТАРЫЕ ПТИЦЫ

На молодые леса
опускаются птицы:
усталые крылья, слабая грудь, бледные лица.
Их кашель пожаром
шевелится в солнечных кронах.
Здесь нет молчаливых детей,
нет печальных влюбленных.

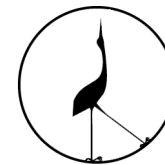
Стараясь друг друга обнять,
продвигаясь друг к другу,
за пядью неловкую пядь
они ходят по кругу,
сдирая с гудящих ветвей
их молочную кожу,
и плачут над ней, и бормочут «о Боже».

А помнишь
тропический шорох ночного Эдема,
когда мы с тобою не ведали, где мы.
Слетят монастырские крохи
в ноябрьском вздохе.
Султаны раздарят свои золотые гаремы.

В тумане их говор
становится вычурно страшен:
сквозит солдафонская брань охранительных башен.
Их ласковый голос понятней
в подводных глубинах,
в листании шелковых тканей
и книг голубиных.

На молодые леса
опускаются птицы.
Их старость как тайная страсть стала так необъятна,
что каждая звонница
в каждой священной столице
зовет их обратно.
Но им не вернуться обратно.

ИЗ
«КАЛЕНДАРЯ
ВСПОМИНАЛЬЩИКА»



ЛЮБОВЬ ГНОМА

Синица, синица, давай жениться.
Открою форточку – жду невесту.
Я подарю тебе белую нитку.
Ты мне – зернышко манны небесной.

Нитка – это твои наряды.
Зернышко – наше с тобой угощенье.
Свадьба – это мое утешенье.
Понятно?

Лапкой ты отпечатаешь крестик.
Пальцем я отпечатаю нулик.
Не улетай после свадьбы, невеста.
Песенку спой, чтобы я улыбнулся.

* * *

Красным солнечным лучом
бродит свет по тротуарам.
Тот, кто стал сегодня старым,
забывает что почем.

Сколько стоит разговор
с незнакомцем из трактира,
если с брюк своих полмира
он стряхнет как будто сор.

Если кружкой пивной
завершив свой путь, отныне
наши прежние святыни
вдруг получают выходной.

И неясно, почему
старше став рублей на десять,
ничего уже не взвесить,
не прикинуть по уму.

Лишь бы праздновать легко
эти новые утраты,
улыбаться виновато,
что зашел так далеко...

* * *

*Моему деду Александру Трифоновичу,
воздухоплавателю по призванию*

Старик мой делал воздушный шар.
Я ждал и воображал,
как буду сверху разглядывать город.
– А скоро взлетим? – Конечно, скоро.

Старик мой делал вертолет.
Для этого мы долбили лед
для аэродрома около дома.
Вертолет во дворе – очень удобно.

Старик мой делал межпланетный корабль.
Покинуть эту планету пора бы.
Но мы чего-то не рассчитали.
В тот раз нам не хватило стали.

Так было всегда – что-то мешало.
Но мы опять начинали сначала,
не замечая в работе и шуме,
того, что я вырос. То, что он умер.

Остался лишь сюжет разговора.
– А скоро взлетим? – Конечно, скоро.
И я жду и воображаю.

ХОЛОСТЯЦКАЯ ПЕСЕНКА

В густом рассоле дышат караси.
Мой дедушка храпит на небеси.
Но два оживших снова колеса –
в движение приходят телеса.

Мы жалкие глотатели воды,
мы шлепаем по стеночкам следы,
пока в стеклянных банках зелен лук,
пока ушами слышен птичий стук.

Ты верно понимаешь лишь одно,
животно презирая полотно:
мурлыкают в утробе голоса –
в движение приходят небеса.

Мы жалкие хвататели слюды,
мы держим сковородки у плиты,
пока нам вяжет сеточки паук,
пока нас не подвесили на крюк.

ВЕСЕЛЫЙ БАРИН

Прихвати с собой гитару,
и шампанского бутылку.
Ты куда, веселый барин,
неужели снова в ссылку?

Оставляешь шумный город,
балы, светские привычки,
И притворство то, что молод –
за окошком тряской брички.

Ввысь вздымаются колонны,
всадник вдаль глядит победно.
Их стремленья непреклонны:
тут и вправду спорить тщетно.

Все, мой друг, точите перья.
Знать, чернила не прокисли?
А от веры и безверья
только путаница мысли.

Сколько можно пустословить,
потакая глупой моде?
Вы же знаете, что совесть
в нашем свете на исходе.

Вряд ли существуют страны
справедливей и чудесней,
где бы не казалась странной
безысходность нашей песни.

А в глуши уединенья
лишь одно для нас осталось:
вызывая сновиденья
дней былых (какая малость!) –

Будто школьные уроки,
вдалеке от кривотолков,

выводить лихие строки
для каких-нибудь потомков.

Разве приговор коварен?
Так, ладошкой по затылку...
Ты куда, веселый барин,
неужели снова в ссылку?

ИНЕЙ

Иней – такой особый снег. Через месяц ты все увидишь сама.
Он покрывает шарфы, пенсне, ветки, памятники и дома.

Он на ресницах у лошадей и в бороде мужика с мешком,
Который меж парков и площадей, презрев автобус,
идет пешком.

Этот старик – долгожданный гость во многих квартирах,
и даже в моей.
Я жду нашей встречи из года в год, но он проходит
мимо дверей.

Через месяц ты все увидишь сама. Если приедешь,
если отважишься.
Я увижу тебя в замочную скважину, скажу
«вот и пришла зима».

Достану ладошку для гаданья по линиям.
А она как ледышка в варежке инея.

* * *

Снова воротились зимы
на рогах больших коров,
И дворы, будто корзины,
полны снега до краев.

Снова утро льдинки крошит
с легких веток на лицо.
Я гляжу: мои калоши
вмерзли намертво в крыльцо.

Я гляжу: а до опушки
только снега пустота.
Из трубы твоей избушки
бьется дым, как хвост кота.

Я узнаю, сколько будет
в этой жизни декабрей,
если вновь меня разбудит
храп сугробов, скрип дверей.

СНЕЖНЫЙ КОРОЛЬ

От посещения галерей будет ли прок нам?
На что еще смотреть в декабре? Только на окна.

С первым трамваем, лязгом щеколд, грохнувшей чашкой,
ты начинаешь первый обход, стучишь деревяшкой.

Морозные стекла полны по утрам стрелок, царапин...
Но часто рисунок таких панорам слишком внезапен.

И те, кто доверчивы или мудры, повторят с опаской
советы Петрарки, старшей сестры, кошки сиамской.

Слушай, от долгого взгляда на снег, он почернеет.
Лучше присядь, напиши нам сонет. – Я не умею.

Для интереса можно в уме складывать числа:
сколько осталось длиться зиме. – Я разучился.

Мне проще остаться в этом лесу, за вечной стеною,
где только зима вызывает слезу своей белизною.

* * *

Веками занимаясь делом,
увидев свет, был удивлен ты:
двенадцать старцев в платье белом
шли по канату горизонта.
Вдали темнела глыба неба,
но разделеньем дня и ночи
их путь в тот час рассветный не был,
а вел лишь к составленью строчек.
И, мыкаясь от недосыпа,
они терялись в выси хрупкой.
А птицы стали звуки сыпать –
горохом, нотами, скорлупкой...

* * *

Создание прически
по линиям лучей,
по компасу и направлению ветра:
ты ерзаешь – что может быть скучней,
чем не вставать полжизни с табурета.
Что может быть сомнительней цветов,
швыряемых всю жизнь тебе под ноги,
но я, как прежде, дьявольски суров,
не внемлю ни мольбам, ни указаньям,
натягиваю парус, строю замок,
прокладываю длинные дороги,
хотя богиней стать – удел немногих,
а ты мечтаешь – только б выйти замуж.

* * *

В тот раз он первым признался в ходе застольных бесед,
что не знает вкуса ананаса, а ест свежий снег на десерт.

Все гости со смеху прыснули, но он, как коварный Брут,
взглянул очень странно, и очень искоса, на лохматый
заморский фрукт.

И она сказала: «Попробуйте»... Ответил он: «Ни за что»!
И в прихожей без лишней робости ей на плечи
набросил пальто.

Наверное, долго глядела с неба в тот вечер им вслед луна.
– А я ни разу не ела снега, – второй призналась она.

И тогда он обнял ее за талию. И они продолжили путь.
Целовались и хохотали. И думали – ну и пусть...

* * *

Даже у кувшинов уши.
Так давай уйдем отсюда.
А куда? – На Юго-Запад.
По проспекту в переулок.

Как в аквариуме рыба,
хочешь жить в стеклянном доме?
Не хочу, но что же делать,
если больше нигде жить.

До свиданья. – До свиданья.
Я потом на всякий случай
в этот дом вошел и вышел
на пять сантиметров выше.

* * *

Старец из китайского фарфора –
путешественник в сумочке дамы;
она едет с любовником Жаном
из Парижа в Париж дилижансом;
а старец лежит вверх ногами,
и ему их роман безразличен,
он надеется – то, что в Париже
поставят к окошку поближе
его согбенное тело
и он будет глазеть то и дело
на торговцев, индусов и персов.
Но любовники из Парижа
никогда и не выезжали,
они едут в своем дилижансе
из Парижа в Париж уж полжизни;
и полжизни лежит вверх ногами
из фарфора китайского старец
и не знает, что он не китаец
и мечте его сбыться не скоро.

* * *

Откуда берутся слезы?
Ты наглотался тумана,
ты вспомнил давнишний лозунг
о райских лугах, о пунктирах
дождей и стрекоз и квартирок
в воздушных замках.
Закроешь лицо руками
и снова видишь картинку –
у тебя прозрачные руки
и сумрачная голова.

* * *

Дни – короткие, как взгляды.
Только сторонится глаз
жизнь, сменившая наряды
наших судеб в сотни раз.

И какие песни пели?
Что ловили на лету?
Я стою в большой шинели,
слушаю капель и жду...

Рыжий водосточный желоб,
те же ставни и крыльцо –
мне во сне печальный голубь
обнял крыльями лицо.

ДАЛЕКО-ДАЛЕКО

Береста в это время года становится светлее.
В лесу проснулись звери,
бродят, ломают ветки, забывают бояться дыма.
Их лохматые тени любопытны.
Мы двигаемся по серому льду озера,
здесь проходит зимняя дорога: следы от полозьев,
травинки сена, навоз, потерянная кем-то рукавица –
все это кажется необычным.
Это происходит не только из-за смены обстановки,
необычно – само состояние покоя,
к тому же окружающее становится интересней и ярче,
если ты долго не спишь.
Отец молчит и удит окуней. Они горбатые, с красными
перьями; подпрыгивают и хищно хватают снег.

Детство дает о себе знать такими вот намеками
в течение всей жизни...

* * *

Гудят и высекают искры дождя далекие полки.
И шелком стянутые икры переставляют каблуки.
Шуршанье мусора, бумаги ползет из каждого двора.
И улиц траурные флаги уже застыли до утра.
И холод высветляет залы, и вслед, гася любые звуки,
встают высокие кристаллы и манекены тянут руки.

10 окт. 1986

* * *

Прохожая уронит помидор.
Петух проглотит камень и замолкнет.
Пока папаша пьет пирамидон,
ребенок видит женщину в бинокле.

Она сейчас прической занята
и лепкой щек медлительным массажем.
Ты удивлен, что эта нагота
так схожа с остальным пейзажем?

Ее прервет походка моряка.
И скрипнут половицы, словно утка.
Отец замрет в проеме сквозняка:
а, ты уже проснулся. С добрым утром.

* * *

Торговец рыбой из глуши Средневековья
в лавчонке под матерчатым навесом,
взирающий с лукавым интересом
на праздник Воскресения Христа;
шумят плащи, как спелые колосья,
вверху – звонков литых многоголосье,
распятый на расставленных холстах
сияет благородным малокровьем,
на улицах дневная суета
полна соединением чудесным;
и время длится плавной чередой,
кагор пока не заменен на вермут,
душа – сиюминутной пустотой,
и Бог еще никем не опровергнут,
но все-таки иная подоплека
найдется у коварного педанта –
в неосторожной шутке хлебопека
или в мятежной скрипке музыканта,
просто в пустом ворчании старухи,
которая младенца пеленает...

Торговец рыбой дырочкою в ухе
вбирает все. И все запоминает.

ДРОВОСЕК

Я их знаю поименно словно Цезарь;
каждому придется пасть в итоге –
именно с такой печалью цензор
вырубает просеки и строки.

И хотя у нас короче век –
он трудолюбив и узаконен,
мне хватает взгляда снизу вверх,
чтоб тотчас вонзить топор под корень.

Наши дни всегда просты и смачны,
где-то в бесконечной суете
у детей свои мечты и мечты.
Только вот у чьих они детей?

В ожиданье дней моих последних,
щурясь на табачные клубы,
будет слушать дерзкий мой наследник
о лесах, встающих на дыбы.

Мол, как шумно и нараскоряку,
сбросив с веток желуди и птиц,
торопясь собой подмять рубаку,
падают они главою ниц.

И тогда, подняв соленый тельник,
на ладони вывалив килу,
я сажусь в хрустящий муравейник,
прислоняясь к потному стволу.

* * *

Старики на городской стене
что-то говорят в старинном стиле,
нехотя взирают на рептилий,
меж камней скользящих в полусне.

Что им до моих поспешных строк,
верениц планет, летящих мимо?
Но их безучастье мнимо
и в конечном счете – не порок.

Даже помышляя о другом,
обронив словечко между делом,
и кривящего своей душой и телом
вдруг раздавят словно сапогом.

МЮНХГАУЗЕНУ,
ЗНАМЕНИТОМУ ВСПОМИНАЛЬЩИКУ

Барон, вы в том же домике
с цветком на подоконнике
или переехали в другое государство?
Все по приезде в Бельгию
по магазинам бегали –
я ж вас найти пытался.

Барон, судьба изменчива,
но с вами та же женщина
живет и гладит брюки?
Когда я был в Голландии,
мы сами брюки гладили,
щадя тем самым женское достоинство подруги.

Не знаю, с той ли дамою,
но книгу ту же самую
читаете вы на двадцать восьмой странице?
Когда я был в Уэльсе,
с каким-то пэром спелся,
который убеждал меня вас посторониться.

Забывать мне вас советовал,
и только после этого
я понял, что вас нечего искать по границам,
что вы все в том же домике
с цветком на подоконнике
и булки хлеба крошите воронам и синицам.

* * *

Я знаю, ты даже не ищешь любви,
она – вся в тебе и твоя:
смычки перекрещивая свои
с линейками бытия,
я тоже пытаюсь не верить уму
и музы – покорный слуга,
но это тебе, дорогой, ни к чему –
прекрасная песня легка.
Эй, Моцарт, играй от зари до зари,
пред миром ты не виноват;
и смело протянутый кубок бери.

– В нем яд? – Ну конечно же, яд.

С. ТЕНДИТНОМУ

Ты ли, Боже, бросил дрожжи
в наши души бездорожья,
в наши годы безвременья,
размывающие возраст, –
кто-то скажет: день был прожит,
он – ступенечка старенья,
только это будет ложью.
Просто мы сжигали хворост
и корявые поленья,
изучая суть явленья,
чтоб забыть его еще раз.

РАДУГА ОСЕНЬЮ

Трамваи несут на рогах электричество звезд.
В хрущевском барокко – гербы из колосьев и солнца.
Рабочий день завершен.
Здесь теперь многолюдно.
Смотрите: собачка, поводок, шуршащий по листьям.
Ее догоняют крики, разноцветный топот сандалий.
Так рассыпаются овощи.
Лотки: капли света, земляной сор, руки, как корневища.
Военный купил леденцов – они прозрачные.
Жуки в пыльной воде.
Радуга осенью.
Я держу в пальцах капустный кочан
бережно, как зеленый
оживающий мозг.

* * *

Вы хотели голубя? – Вот голубь.
Здесь не надо ни на грош уметь.
Но младенец истину глаголет,
если у него пеленки сменяют.
Знаю: вы попросите хоромы...
Выполнять желания опасно...
Мы еще как будто не знакомы,
как зовут вас, покажите паспорт.
Не попросите – теперь вам верю.
Очень даже скромная фамилия.
Припадайте не к глазку на двери –
припадайте к рогу изобилья.
Вы хотели счастья? – Вот счастье.
Основное в этом хитром деле –
жить, предполагая ежечасно,
что все так идет, как вы хотели;
выбирайте путь посередине
старческого ль, детского рыданья...
Все равно мы присно и отныне
в этом странном месте без названья.

* * *

Гремят проспектов паруса
пустым бельем заледенелым,
а я свистящим и бестелым
вступил в каркасные леса.

Мое тройное существо
гортань щекочет, отлетая.
И нет под кожей ничего...
Лишь пух от пролетевшей стаи.

КАЛИОСТРО

Зима сгребла в охапки старый рынок,
дома, дворцы, кибитки печенег;
мои дворы устали от поминок,
и тлеет космос искорками в снег.

Грядущий день в прическе из соломы
стоит у штора как любопытный паж;
верхом на спичках важно едут гномы,
теперь они запомнят шепот наш.

На медных блюдцах, лампах, дверках шкафа
проступит навсегда ушедший век;
вскипает ртуть в живых ладонях графа,
в глазах летит полночный, желтый бег.

Ты достаешь пузырчатые колбы,
железки, склянки, мертвого ужа, –
еще вчера доверчивые толпы
склонялись пред тобою чуть дыша.

И я давно хочу остаться с теми,
кто слушал звон медлительных колес,
и променять свое сухое время
на сладкий век совсем соленых слез.

Но вот сквозь окна с мутным пузырем
мы вновь глядим, покуда вечность длится,
на Петербург, оставленный сновидцам,
мерцающий неоновым огнем.

Становится светлее синева,
простую плоть приобретают тени,
губами произносятся слова,
и нежный шелк стекает на колени.

И пальцы греют легонький фарфор,
что мчит по кругу вдоль имен забытых,

должно быть, не надеясь до сих пор
расслышать нас, живых и неубитых.

ИМПЕРАТРИЦА И ЕЕ ГОСТИ НА ВОЛГЕ

Мы врезались прямо в стаи рыб,
бьющихся ершистыми боками.
И по палубам дощатый скрип
пробегал крутыми каблучками.
Жестом, проливающим вино,
собирая вечных попрошаек,
крошки разлетались в ключвы чаек,
так и не ухвачены волной.
Озирая миллион явлений:
баржи, вехи, невод с осетрами,
взлет совы, мелькание оленей
и падение стволов под топорами, –
мы ласкали взглядами леса,
купола, ограды, спины жнеек,
но летел, как будто сор в глаза,
дикий, непристойно рыжий берег.
Он, чумной, в босых следах и рыбах
под заплесневевшими сетями,
из густых осок бесшумно выпав,
воду по утрам хлебал горстями.
Бормотал на древних языках
и, укрывшись лягушачьим илом,
засыпал у солнца на руках,
становясь младенчески унылым.
Но река опять несла плоты
бревен, как поверженных гигантов,
во преддверье новой красоты
для богоподобных экскурсантов.
Восторгаясь радугой весла,
я читал в надменности Батяя
на лице заморского посла,
что ему понравилась Россия.

* * *

Друг мой лапчатый, гусь единственный,
полетишь – долгим небом выстони, –
как мы в гоготе людям верили
потрохами своими, перьями.

* * *

Я привыкаю к первой белизне,
словно к березе чужеземный странник,
переходя пространства многогранник,
случайно опрокинутый во сне.
И так же, может быть, в земле иной
я подчинял наклоны транспортиру
и привыкал к увиденному миру
и человеку, названному Мной.

ЦАРЬ. ДОМ ИПАТЬЕВА

К гусяной коже прилипает ворот.
Под горизонт расправлен светлый серп.
И мне не удержать губами город –
совсем ржаной, позеленевший хлеб.

А помнишь шелестенье перепелок,
и легкость яблок – словно снегири...
Иль это все дыханье книжных полок:
«Из чресл твоих произойдут цари»?

Я кутаюсь один в лоскутных тряпках,
но беспокойной ласкою отца –
бежит по ребрам, путается в лапках
слепой мышонок с клювом из свинца.

А утро не надеется присниться,
льняной колпак затягивая вновь,
вдруг припадает к крохотной деснице,
берет в пробирки голубую кровь.

* * *

Наш золотой Китай-город,
дудочки да гармошки,
помнишь?
– Не помню...

Я выбирала шали,
а платочек ukrала,
веришь?
– Не верю.

* * *

Ты спи, пока жива.
Всю зиму – а смогли.
Шатает деревья
вода из-под земли.

Или гуденье вен
уносит забытье,
по разбуханью стен
измерено житье?

Ах, Ленка, не тебя
полюбит генерал.
И, в тамбуре шутя,
поедет за Урал.

И только пресных уст
все тот же детский страх.
И только мокрый хруст
саранок на зубах.

И я, сбиваясь с ног,
пока луна горит,
в платке несу творог
и синий антрацит.

* * *

Неразличимый сумеречный вкус
моей земной последней колыбели.
А мы когда-то плакали и пели.
Пора прощаться – милый, я боюсь.

Мне кажется, что дни уже летят.
И без тебя давно минули годы,
но так же страшно улицы скрипят,
и на войну уходят пароходы.

И я все слышу – где-то на земле,
в пустой дали, за белою поляной,
как на большом забытом корабле,
трепещет флаг на школе деревянной.

ПОСВЯЩЕНИЕ

*Ты к людям выходишь даже во сне
на незаметнейшем белом коне.*

Сколько стоишь ты грошей – не скажи,
а на шее рыжий бублик покажи;
это – пальцы неземного ремесла,
перехваты поцелуя и узла...

В СЕРЕДИНЕ ЖИЗНИ

Зимы и листьев солнечный раствор
теплее перепонками в ресницах.
Давай-ка вспомним детский уговор,
прикрыв разводы тления на лицах.

Под рождество надеть гусиный нос,
парик из теста, ватную ливрею,
ловить сачком дыминки папирос
и понимать: я больше не старею.

Все это происходит никогда,
и под рубахой спрятанный алтын
становится, пока идут года,
все более отменно золотым.

Но забывают. Что им? Забывают.
И словно камень, рухнувший на жечь:
– Вам не дожить. Иначе не бывает.
А мне всего-то будет тридцать шесть.

Я сладкие вдыхаю хлопья снега
и водяные перышки сорок –
смешно так долго ждать скончанья века
и колокольчик трогать за шнурок.

* * *

Дождь по крыше тростью водит.
Серый кот за мышью ходит.
И в полу ворчливый скрип –
верно, прорастает гриб.

Ни к беде и ни к добру
ночь ступает по ковру,
не страхнувши позолот,
в руки овощи берет.

Стрелка света на столе.
Нашим душам сотни лет.

ВОРОТА СЕНТ-МАРТЕН (к 175-летию события)

Доброй ли волею или силою, на штыках
или церемониальным маршем, на раз-
валинах или в чертогах, но сегодня же
Европа должна ночевать в Париже.

Александр I

I

Париж вновь подметен до белизны.
смотреть мундиров стройное блистанье,
живым героям смолкнувшей войны
под женский взор поставив испытанье.

Тревожными костяшками стуча,
как по перильцам в генеральской ложе,
сжимая губы все смелей и строже, –
остановите веер у плеча.

Сейчас начнется. Рокотом трубы
взлетят знамена, полные победы,
и первый строй цветным мельканьем Леты
подвинет удивленные толпы.

Они войдут, вздымая кивера,
скрывая сердце в гулкие кирасы,
растягивая в линию бедра
на панталонах алые лампасы.

И кто-то ахнет, окна отворя...
Сторожевые вытянутся ветлы...
И девушки попросятся на седлы
увидеть лик российского царя.

Одним глазком – на счастье и страх,
встречая свет, прекраснее сапфира,

густой поток расчесанных папах,
и волчий хвост на шапке у башкира...

Сейчас начнется... Нет, не началось...
И по шелкам гуляет запах прели...
И свечи Нотр-Дама отгорели...
И ожиданье длится на авось.

II

Я помню биваки в прохладе гор,
седых домов дрожащие султаны.
И через миг ударят барабаны...
И государь ладони распростер.

Веселая, свободная пора!
Мои друзья лихие офицеры
в французском состязаются с утра,
и проявляют тонкие манеры.

- Не знаете, что завтра в Опера?
- Опять дают «Великого Трояна»? -
Но дразнится с небес чумно и пьяно
зловещих птиц картавая игра.

Как надзиратель, изо всех углов
сам Ворон, гувернер иного мира,
следит, как на парадные мундиры
пехота обдирает мертвецов.

Казак купает бороду в росе,
едва дыша в предчувствии азарта,
но это сон - и, может быть, мы все:
нелепое виденье Бонапарта.

Он еще верит, правит, свысока
бумаги запоздалые листает,

подняв музейной пыли облака,
швырнув перчатку, страшно засыпает.

И перед ним проходят чередой
цари, планеты, темные народы...
Но это мы Европе золотой
даруем миг покоя и свободы!

И свист команд, спеша поверх голов,
щекочет слух гвардейских краснобаев.
Лукаво улыбнулся Чаадаев...
И где-то здесь - и Лунин, и Орлов...

Они опять пленительны и юны.
И вот уже последние посты...
Дрожали бедра каждого драгуна.
И лошади стеснялись наготы...

III

Ну вот и все. Прости мне грустный вид.
Я слишком долго ждал победной весты.
Сейчас, вспорхнув за зыбкие предместья,
курьерский голубь трепетно взлетит.

И на секунду чувствуя испуг
на незнакомой первой вольной воле,
найдет восток, исполнен древней боли,
легко забыв волнение наших рук.

И я увижу, кинув беглый взор,
прямив ладонью злой суконный ворот,
в его глазах мелькнувший вечный город
в пути на дальний пройденный простор.

Увижу, взятый в полную длину,
всех этих шумных стран весенний роздых.

И, странно цепenea, как при звездах,
в прощальном жесте шапку махну...

И он уйдет вдогонку птичьих стай...
Как на исходе детского рыдания...
Уже теряя птичьи очертанья...
Из века в век, из края в новый край –

Как чистый сон сомнению вослед,
оставив нас смыкаться в горькой вере,
Совсем одних у самой трудной двери
в хмельном упорстве рвущихся на свет.

Чтоб хоть кому-то в горестном пути
вернуть надежды самой высшей мерки...
Европа спит... Россия впереди...
И сожжены большие фейерверки.

Артиллерийское училище I

Толкая холод, бьется монгольфьер.
Смотри, какая тщательная мука.
Смотри и ты, влюбленный до испуга,
мой мальчик, вождельный офицер.

И этот сладко выпрямленный рот
в рыдающем изяществе отваги,
и золотой эфес короткой шпаги –
в ней сам Господь о Корсике поет.

О Корсике, где в горестной пыли
живая, равнодушная свобода
еще ласкает бедра скорохода,
и, не дыша, считает корабли.

Как рано в наших детских голосах
отечество волнами отшумело.
И только звонко крепнущее тело
осталось в засыпающих глазах.

И, возвращаясь снова, мчится сон,
И узнаванье грезится любовью,
И к нежному плебейскому надбровью
спокойно вещей холод поднесен.

Артиллерийское училище II

Еще надеюсь, лезвию шурша,
И грежу дальним островом на карте.
Неплаканный звереныш Бонапарте,
заморских скул сверкнувшая душа.

Ему мерзит от снега за крыльцом.
Звон колоколен схож с бренчащей тройкой.
Какая тьма в стекле за длинной койкой,
какая глушь под войлочным чепцом!

С утра шаги просторней, и опять,
пока язык так лакомо послушен,
злым корольком в чулане помирать,
шептать – не верь, я жив, я равнодушен.

Я узнавал как будто впопыхах
исходы каждой предстоящей битвы,
И начерно сговаривал впотьмах
сухие белозубые молитвы.

И был готов, раскаявшись до дна,
припасть к руке в обряде поцелуя,
восславить Бога, грянуть «аллилуйя»
под плеск знамен, под вечный рокот сна.

* * *

В лавке пляшет зазывала.
Сторож ходит третий круг.
Нас на свете не бывало –
это выдумки, мой друг.

Мы еще – снега в дороге
из галактики иной.
Скоро рухнем на пороге
по ступеням сединой.

И во тьме, еще до снега,
в колыбели на лету
пух неправдашного века
закружится в пустоту.

СНОВИДЕНИЯ ПЛЕННИКА (ПУШКИН)

Ты все лопочешь песенки про ад,
на скомканной перинке арапчонок.
И легкие, в юдоли обреченных,
минуты, словно ласточки, летят.

Нас разлюбили, может быть, за час.
И вынимали шлафоры из шкафа.
Гремел затвор жемчужного аграфа,
и лился свет высоких синих глаз.

Как поцелуй молочницы святой,
печальнее, чем ласточка на море,
была планета в сумрачном просторе
над башнями державы золотой.

Какой же давней флейты поводок
тебе твоя планета не находит,
и даже ночь огромная проходит,
теряясь в белых письмах, на восток?

И почему, завещанная нам,
весна легонько бродит по постелям,
туманя очи бедным менестрелям,
верша удачу добрым королям?

Когда же отраженьем промелькнут
большие страны, лица и озера,
и тени непрощального укора
над нами строгий контур разомкнут?

И разве можно думать о другом,
когда тебя уже никто не слышит.
И лишь за морем матушка не дышит
о сказочном рождении твоём.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СПУСК, 13

Давно ли и, может, впервые
уставшему книги листать –
в кукушкины слезы сухие
на теплой постели играть.

Ты стала красивой, как мама,
наверное, счастья ждала,
когда неожиданно прямо
луна за ладонью вошла.

Я вспомнил – по городу Киев,
от первого снега бледней,
высокие лица людские
стояли у темных саней.

Мы в каменном доме гостили,
нас к детскому Богу ввели.
Лимоны в чулке подарили,
а елку еще не зажгли.

* * *

Опять и небо, и вода,
и чистый берег с белым краем.
Молчим и будто вспоминаем,
кого любили навсегда.

Я вижу лета краткий миг,
я слышу грома рокот дальний,
и все труднее и печальней
слова приходят на язык.

ХОЛОДНОЕ УТРО

Чумное городище ранних зал.
Гора шинелей, сваленная в детской.
Пылает грог. И холодом мертвецкой
сквозит высокий утренний кристалл.

Все целованье жемчуга со лба.
Все те же игры в куколки да прятки.
Как на цепи, по кругу, без оглядки
широкая гусарская ходьба.

Крупленный сахар. Чистая зола.
Волшебных рук далекие посулы.
Смирение свело сухие скулы.
И легкий бархат сняли со стола.

* * *

Повзрослеть... полюбить анархиста...
Сокрушая основы основ,
задышаться от жаркого свиста
гимназически модных стихов.

Чернохвостницей в улочке узкой
мимо отчего дома скользнуть.
Полноправной... безродною... русской...
вдохновенной еще как-нибудь.

Наши девочки стали сутулы.
Наши слезы застыли в глазах.
Как чеканно царей караулы
разминулись на площадях!

Я укутаю револьверы
крепко-накрепко в легкий платок.
Что ты вспомнишь в свой яростный, серый,
в свой последний столичный денек?

Как сестра прижимается к брату
сквозь сухую беззвучную мглу,
Мы с тобою простимся когда-то,
засыпая на длинном полу.

Если хочешь – я верю, я знаю:
нам дорога всегда... до конца...
Видишь, боль моя – кровь негодяя,
как гордыня, уходит с лица.

* * *

Давай убежим... убежим...
уедем... и будем другими...
Запомни губами одними,
привыкни к надеждам моим,

что наши распятья сгорят,
что шумные птицы и платья,
другим раскрывая объятия,
прекрасную жизнь повторяют.

Беда – это призрачный дым,
мне холодно только с чужими.
Запомни губами одними:
я тоже был Богом храним.

Я тоже цепляюсь за свет.
Любимая, правда, я тоже,
как бабочка, лезу из кожи
скрипящих чудовищных лет.

Презрительней, чем никогда,
высокое время проходит,
но если судьба происходит –
чему-нибудь быть навсегда.

Суконными будут пальто.
Железными – в комнатах двери...
И это не наши потери,
что правды не знает никто.

8 АВГУСТА

Забаяюкали корыто
волны ласковой травой.
Над водой склонилась Нида
черепичной головой.

Только стайки рыжих радуг
на прибрежной белизне...
Что еще бесследно надо
было мне?

АНГЛИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

По пристанищам длинным гурьбой содвигая кули –
на холмопых горбах синева мукомольного дыма.
И в разбитое русло прохладно идут корабли
на российский порог, исполинского берега мимо.

В померанцевом сумраке мягких ночных колымаг,
где углы истекают глухою ореховой смолкой,
на точеном стекле умещается весь зодиак,
навсегда завороженный вашей державною челкой.

Вы слабы и роскошны, как зимний в дурмане цветник,
только властное сердце приучено к мерному стуку:
и трепещет во сне изувера хмельного кадык,
и германец не смеет разинуть щербатую скуку.

Так и должно вершить тишиной повороты ключей,
если глушь постоянства раскинута далью рябою.
И по черному голубю грубо равнять лошадей,
наезжая в спокойную стужу кулачного боя.

Так и должно хранить безучастного Севера рост,
если призрак державы в нас горькой отчизною брошен.
И не ведать упрека на зыбком распутии звезд,
где молитвенный путь, как и каменный дом, невозможен.

И опричную кровью летящих на твой камелек,
вечной памятью каждой отчаянно райской дороги,
мне мерещится верность ласкающих рыжих чулок
и самой Катарины больные солдатские ноги.

* * *

И вечер: ба, все те же лица, как будто мне
вновь разрешили повториться в привычном сне.

Как будто взятый для призванья дурацкий чин
сулит мне женское признание, восторг мужчин.

По крайней мере, я слышал что-то об этом, но
давайте снимемся на фото, пойдём в кино.

Вы приглашайте меня на свадьбы с собой дружить,
мне только службу свою понять бы да сослужить.

Мне б научиться приобщаться, сходя до дна,
Чтоб стало здешнее несчастье – моя вина.

В свои заливы, в свои двери я вел Неву.
Я жил, а мне никто не верил. Я и сейчас живу.

* * *

Ни зеленой тросточкой, ни шпагой,
ни лучом на мокром тротуаре
не рисует мне усталая природа,
для нее я стал случайный житель;
не люблю походочки Эйнштейна,
обхожу поэтов поединки,
возвратившись в свой заветный город,
не спешу звонить друзьям по школе;
мне и так от жизни слишком много
получилось сказочных подарков –
ты теперь суди меня как хочешь,
если помнишь, милый, если слышишь...

ПРЕДСКАЗАНЬЯ ВОЛЬВОКСА

В глуши палисада, на кромке крапивного леса,
буквально за миг до мельчайшего в мире распада –
по собственной прихоти мира и для интереса
любой из частиц на другую глядеть виновато –

храня ожидание или хотя бы терпенье,
едва различая сквозь долгого сна поволоку
сухой, отшумевшей листвы мотыльковое пенье,
летающее быстрой регатой по мутному стоку –

где ты заглянул на цветные гуляния праха,
стал скомканным ветром, забившись в траву под обрывом;
и смотришь, решив не считать проявлением страха
простое желанье остаться предельно учтивым –

на то, как паук недоверчиво ходит по кругу,
сплетая нам розу ветров на ближайшие годы,
дробя на миллионы лучей направления к югу,
но не предвещая больших изменений погоды –

из глупого прошлого каждого свежего взгляда
гадаешь, кто в новом раю будет самый несмелый –
и давнего дня неутерянный камешек белый
в сегодняшнем дне узнаёт безымянного брата.

ПОЛЯРНИКИ

Не смолкает крещенская вьюга в ночном эфире,
и, глуха к электрическим, предгрозовым раскатам,
по панели приемника движется тень герани,
непрерывно завидуя только кусту герани;

и квартира привычно играет в Северный полюс,
сообщая координаты, метеосводки, итоги
прошлогодней путины во всем ледовитом мире
или немыслимо бодрой страды где-нибудь
в Кыргызстане;

на привинченной койке – из праздничного содома –
стоит только прилечь, как срываешься вниз по склонам,
и теперь, если мирно усну под твои заботы,
то, наверно, услышу и свой, незнакомый голос;

ибо все, что было оставлено – движется рядом,
будто в стеклах ровно летит сухая солома,
нас во сне догоняют невыбранные дороги
и меняются судьбами в придорожном тумане;

и я знаю твою любовь провожать самолеты,
отвозить меня ранним утром до аэродрома,
отпускать как будто на смерть осторожным
взглядом,
лишь бы вкус на губах был похожим на кровь.
Соленым.

* * *

Никакую дорогую простоту
или шепот через левое плечо
я не видел у живущих на лету,
потому что не раскаялся еще.
Мы бежали среди мелькающих стволов
прямо к чуду, длинной просеки в конце,
чтобы после не найти и пары слов
рассказать о самом быстром беглеце.

* * *

По ночам отключаются телефоны
и решеток и лестниц чердачных кроме,
скоро год, как закрыты на ключ балконы
по законам жилья в аварийном доме;

темнота устает задыхаться от пыли,
снова все забывается – и вы сами;
и потом ваши руки по локоть в мыле
со случайно намыленными часами;

это так хорошо – ни о чем не думать,
больше не узнавая своей же роли,
глядя со стороны, ни о чем не думать,
будто помнишь хоть что-то о вольной воле;

с новогодней свечой заблудиться в шторах –
ведь чем меньше осталось людей снаружи,
тем становится ближе тоскливый шорох,
только вряд ли так отлетают души;

только вряд ли возможен побег отсюда,
но пока что, хотя бы для интереса, –
у тебя точно так же гремит посуда
в пять утра, под далекий гудок экспресса.

ПРОХОДЯЩЕЕ МИМО

Вдоль квадрата,
тише детского «не надо»,
перед грозой – до последнего раската,
вертикальной светлой полосой
мимо лиц перемещается утрата;

длится время из старинного романа,
где уже нельзя ловить на слове,
верить в добрый шлягер со слезой,
делать вид, что мы во что-то верим;

будто поздно встретить друга, брата,
даже сон лишен намека, зова крови,
лишь шумит к удаче, к перемене
океан внутри другого океана –

в нас поют убитые грозой,
беспощадны к нам, ко всем героям,
в чьих домах, покинутых когда-то,
нет деяний, но остались тени;

и я понял, вставши на колени:
твои юбки горько пахнут зверем;
вечность носит имя «слишком рано»
в каждой песне, в найденной подкове.

* * *

Т.Б.

В тихой спальне рассветный час отъезда
замирает на уснувшем циферблате;
ваша дочка, как несчастная невеста,
вышла к нам в каком-то стареньком халате...

...и стоит, смешно споткнувшись на пороге...
...медлит, будто привыкает к переменам...
Темных окон отсыревшие подтеки,
отражаясь, разбегаются по стенам.

Свет рассыпался пунктирной телеграфой
по тряпичному жилью – чертополоху;
смотрит на дагерротипы, дверцы шкафа,
ищет вход в давно прошедшую эпоху...

...все смелей разоблачаются секреты...
...все привычней исключения из правил...
В этом доме не теряются билеты –
они там же, где ты их оставил...

И ты веришь, обнимая двух соседок,
что вернешься к ним – пусть даже ниоткуда,
если что-то и оставив напоследок,
то, должно быть, что-то вроде чуда.

АТАС

Чую – где-то рядом ужасный зверь.
Посмотри, на кухне дымится чай.
Он ушел на волю в другую дверь.
Он сказал хозяйке «прости-прощай».

Он и сам не ответит себе сейчас,
что́ его научило бежать, скользнуть.
Посмотри на мелькание бабьих глаз,
и они нам со страху укажут путь.

Это здесь он хранился и зимовал,
с папироской у зеркала скулы брил.
И ни слова про дальний лесоповал
даже в пьяной печали не обронил.

Что ей толку гадать про его дела:
возвратился, сорвался с большой цепи,
с чемоданами денег да барахла...
Поглядел исподлобья – бери, люби.

И исчез, как явился, – таков закон.
Вам бы сразу предателя гнать взашей.
Перепрыгнул карниз, пересек балкон,
промелькнул занавесочками этажей.

И спокойно любитесь на ветру
грациозным рассветом в моей стране,
перспективой, дымками фабричных труб,
обнаженной натурой в чужом окне.

А столица растет красотой, жильем,
дарит каждой душе молодой июнь,
но тебе эта жизнь поросла быльем,
раз в Сибири струится река Катунь.

И куда там до музыки высших сфер,
о которой ты грезишь, пока молчишь, –

из отстреленных пальцев твой револьвер
полетит через миг с этих громких крыш.

* * *

Помню, ветер шумел в пустом облетевшем сквере,
завершив свой рассветный пробег по соседним странам;
в Москве становилось светло, но вот только двери
всех домов оставались закрыты, что было странным –
хоть считай дни недель, загибая за пальцем палец,
чтобы вдруг натолкнуться на праздник и воскресенье,
начиная с даты приезда, как постоялец,
недовольный своим визитом, но в этот день я –
среди книг, что лежали обрезками черных досок
вперемежку со старой одеждой, помимо пыли
покрываясь стремительной тенью цветных полосок,
преломленного солнца сквозь флаги столиц и шпили, –
свой игрушечный мир обводил безупречным взглядом,
будто целую вечность спокойно глядел на вещи,
потому что, случайно проснувшись с тобою рядом,
я успел поделиться разгаданным сном зловещим.

ПЕСЕНКА СКВОЗНЯКА

Дающие обещания
хранят не молчанье, а золото.
Ищут поляны щавеля,
вступают в озера холода;

Спешат в перепады, в полосы,
под птичьим мельканьем прячутся;
не спрашивают вполголоса,
когда им судьба назначится.

Для них больше нету времени
царями быть, пилигримами,
причислиться к роду-племени,
остаться навек любимыми –

Их радуют только мельницы,
где тихо пшеница падает,
за то, что вот-вот изменится
все то, что сегодня радует.

Зачем же ты, моя дальняя,
фонарь на двери привесила?
Свистеть в пустоту нахальнее
и даже весело. Весело.

КАЛЕНДАРЬ ВСПОМИНАЛЬЩИКА

Календарь вспоминальщика, наоборот,
отворил мне не новый, а старый год:
были счастливы – от людей в тени
каждый час под куриным крылом
храни.

Не получится – станешь ветер звать,
может, к лучшему – молодым опять?
– Только ворохи писем по тебе.
– Только шорохи во печной трубе.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 4

ЧАС ПРИЗЕМЛЕНИЯ ПТИЦ

Ласточке 7

Shell Beach

Свадебное путешествие	8
Гроза (романтическая)	10
Лист (tempo)	11
Последний день лета	12
«Сказочный шепот и вкрадчивый шорох...»	13
«Нет солёнее ветра, чем суховей...»	14
«Сентябрь наступит через две недели...»	14
Shell Beach	15
Дождь над Лейк-Мёррей	18
Сердце-пастырь (новый Брегам Янг)	21
«В вое шакала гуляют опавшие листья...»	22
«Ветер шуршит по аллее листком сухим...»	23
«Полдень окажется достоверней...»	24
Дельта	25
«В молитве сдвигает ладони метель...»	26
Зимний дендрарий	27
Предновогодняя прогулка по Свердловску	28
«Мороз скрежещет в водопроводных костях...»	29

Мечь	30
Табу детской комнаты	31
Халиф на час	32
«Навсегда распрямляется темный лес...»	32
Цинга	33
Два в одном голосе	
1. Минута знакомства	34
2. Жара	35
«Только там, где сможешь ты проснуться...»	37
В гостях на родине	38

Квадратные окна

«Прийти с невестой в южный городок...»	39
«Как бродяга, волочился за тобою листопад...»	40
«Поезд, качнувшись, входит в сезон дождей...»	41
«Окруженные грозами и горами...»	42
Нарва-Йыэсуу	43
Монолог девушки	44
«Ну а если в Ливадии снова не будет зимы...»	46
«Сосновый лес вставал по берегам...»	47
Русский путешественник (1)	48
Русский путешественник (2)	49
Мирские строфы (1)	50
Мирские строфы (2)	51
Кузбасский поселок	52
«Ты однажды приедешь в пустынный дом...»	53
«Как по городу под шорохи метлы...»	54
Memento на дачную тему	55
Именинник	56
Мама в августе	57
Удивливень	58
Робин Крузо, бабушка	59
1991-й	60
Душ зимою	62
Ожидание	63
Признание	64
Изумрудный город	65

Рождественская считалка	66
Квадратные окна	67
Большой вальс	68

Цыганенок

Молитва	69
«Вот и весь ты, как на ладони...»	70
Ветер рождества	71
«Бабы ласковые руки...»	72
«Раздвигался черный окоем...»	74
«Я корову хоронил...»	74
Цыганенок	75
«Я под твой клинок потянусь плечом...»	75
«В чистом небе легким птицам нет числа...»	76
«Приносили в горницу дары...»	76
Песня	77
«В сторожке летели недели...»	78
«Говорила: станешь паном...»	79
«Мама шаль тянула по траве...»	80
«Поднимаясь с тяжелой ношей на престол...»	80
Песня	81
Колыбельная с несуществующим ребенком	82
«Ты, наверно, ничего не поймешь...»	83

Несколько мифов о Хельвиге

Норвежская сказка	84
Хельвиг (осенний)	85
Хельвиг (царь)	86
Хельвиг (проселочный принц)	87
Хельвиг (казнимый)	88
Хельвиг с яблоками	89
Хельвиг (никчемный)	90
Свитер Хельвига	91
Хельвиг (сиюминутный)	92
Старость Хельвига	93

Из Дилана Томаса

Над холмом Sir John's Hill	94
На бедре белого великана	97
Мой друг, не спеши уходить в дальний путь	99
Элегия	100
Зимняя сказка	102
Стихи ко дню рождения	106
В деревенском сне	110

Час приземления птиц

Гусиный пригород	114
«Черным крестиком ковчег...»	118

ИЗ «ВЫХОДА К МОРЮ»

«Еще пара недель молчания...»	121
«Собачьего вальса глухие шажки...»	122
Черноморская песенка	123
Вифлеем	124
«Тронуть шторы пыльный кокон...»	125
«Полуночных инвалидов костыли...»	126
Из Вестсайдской истории	127
Злые дети	128
«Я скажу “до свидания” каждому кораблю...»	129
Колумб	130
Дантистка	131
Визит постмодерниста	133
Утро (туманное)	137
Угловой дом	138
Давнишняя история	140
Жизнь с разбегу (1)	142

Жизнь с разбегу (2)	144
Злые дети (2)	146
«Это в памяти, и вечно на слуху...»	146
Опыты со снегом	147
«Убедительно, словно граненый стакан...»	148
Мы будем играть в баскетбол	149
Монте Дьябло	151
Саванна	152
На новом ночлеге (Хобокен, 93)	153
«В тумане возрастает скорость звука...»	154
Правила дорожного движения	155
Сон в Сан-Хозе, почти – во Фриско	160
История времени № 8	161
Письмо другу	162
Большой вальс (2)	164

Algae

Ход выветривания	165
Строфы из романтической хрестоматии: Эмерсон	172
Плач по рэкетире	182
Южный товарный	195
Algae	208

БЕЗУМНЫЙ РЫБАК

<i>От автора</i>	217
------------------------	-----

Царский подарок

Отчаяние	219
Проклятие	220
Independence day.07	221

У синего моря	222
Мой дом	224
Спасенные собой	225
Царский подарок	226
Мотыльки на дощатом полу	227
Любимый шут	228
Ночная гроза над озером	230
В гуле дождя проливного	233
Мост	234
«В печи как за околицей темно...»	235
Оставленные города	236
Встречайте поэта	237
Любовь	238

Свидания с братом

Незнакомая церковь	239
Сказка не про меня	241
Бибракт	242
Свидания с братом	243
Школьный автобус	244
Монолог девушки (2)	245
Пангея	246
Золотой век	247
Ежик, вальсирующий	248
Безумный рыбак	249
Рассветное озеро	250
У индейской воды	251
Как ты там?	252
Двойники Геракла	253
Предостережение	254
Блудный сын	255
Рыжий Юда	256
Тритон	258
Песня	259
Метель	260

Жених

«Здравствуй, обещанная заря...»	263
«Нету мне места на этой земле...»	264
«Мы расслышали голос воды...»	265
«Раскрученный потоком лесосплав...»	266
Женщина	266
Наследник	267
Герметические стихотворения	269
«Я так взволнована, когда с тобой говорю...»	270
«Господи, неужто, ты...»	271
«Не разборки, не разговоры...»	271
Праздник	272
Цыганский хлеб	273
Жених	275
«В темных стволах прозябание смерти...»	276
Простая собака Хельвига	277
Песня	278
Огнепоклонник	279
Нитка	281
Павлин	283
Новорожденный	285

Могила

Могила	286
Старые птицы	290

ИЗ «КАЛЕНДАРЯ ВСПОМИНАЛЬЩИКА»

Любовь гнома	293
«Красным солнечным лучом...»	294
«Старик мой делал воздушный шар...»	295
Холостяцкая песенка	296

Веселый барин	297
Иней	299
«Снова воротились зимы...»	300
Снежный король	301
«Веками занимаясь делом...»	302
«Создание прически...»	303
«В тот раз он первым признался...»	304
«Даже у кувшинов уши...»	305
«Старец из китайского фарфора...»	306
«Откуда берутся слезы?»	307
«Дни – короткие, как взгляды...»	308
Далеко-далеко	309
«Гудят и высекают искры дождя далекие полки...»	310
«Проходящая уронит помидор...»	310
«Торговец рыбой из глуши Средневековья...»	311
Дровосек	312
«Старики на городской стене...»	313
Мюнхгаузену, знаменитому вспоминальщику	314
«Я знаю, ты даже не ищешь любви...»	315
С. Тендитному	315
Радуга осенью	316
«Вы хотели голубя? – Вот голубь...»	317
«Гремят проспектов паруса...»	318
Калиостро	319
Императрица и ее гости на Волге	321
«Друг мой лапчатый, гусь единственный...»	322
«Я привыкаю к первой белизне...»	322
Царь. Дом Ипатьева	323
«Наш золотой Китай-город...»	324
«Ты спи, пока жива...»	325
«Неразличимый сумеречный вкус...»	326
Посвящение	326
В середине жизни	327
«Дождь по крыше тростью водит...»	328
Ворота Сент-Мартен	329
Артиллерийское училище I	333
Артиллерийское училище II	334
«В лавке пляшет зазывала...»	335
Сновидения пленника (Пушкин)	336

Алексеевский спуск, 13	337
«Опять и небо, и вода...»	338
Холодное утро	338
«Повзрелеть... Полюбить анархиста...»	339
«Давай убежим... убежим...»	340
8 августа	341
Английская набережная	342
«И вечер: ба, все те же лица...»	343
«Ни зеленой тросточкой, ни шпагой...»	344
Предсказанья Вольвокса	345
Парусник	346
На исходе каникул	347
Полярники	348
«Никакую дорогую простоту...»	349
«По ночам отключаются телефоны...»	350
Проходящее мимо	351
«В тихой спальнеке рассветный час отъезда...»	352
Атас	353
«Помню, ветер шумел в пустом облетевшем сквере...»	355
Песенка сквозняка	356
Календарь воспоминальщика	357

Месяц В.

М53 Цыганский хлеб: Стихи. – М.: Издательство «Водолей»,
2009. –368 с.

ISBN 978–5–9796–0048–2

Аннотация!!!!.

ББК 84 (1Рос=Рус) 6-5
УДК 882